

З. МИРКИНА

# ИСТИНА

*и её  
являющиеся*

**ЗИНАИДА МИРКИНА**

**ИСТИНА  
И ЕЕ ДВОЙНИКИ**

Москва  
«Протестант»  
1993

ББК 86.376  
М 63

**М 63**      **Миркина З. А.**  
Истина и ее двойники. — М.: «Протестант»,  
1993. — 96 с.  
ISBN 5-85770-007-8

«Истинная поэзия, вдохновленная Богом, заставляющая трепетать всю душу, — благодатна». Именно об этом пишет в своих эссе о Ф.М.Достоевском и А.С.Пушкине, вошедших в настоящую книгу, Зинаида Миркина. Эта книга не литературоведа, а поэта, судящего художника по его собственным законам.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

М  $\frac{0403000000 — 026}{956(02) — 93}$  без объявл.

**ББК 86.376**

## УЧИТЬСЯ ПАДАТЬ

В сказке Михаэля Энде<sup>1</sup> человек живет на уютно меблированном диске, вращающемся в уютной полусфере, вроде планетария, украшенной звездами и луной. Но вдруг небесный свод треснул и сквозь трещину глянула бездна. В бездне, ни на что не опираясь, стоит закутанная человеческая фигура, — и этот человек ни на чем позвал: «Иди ко мне!» — «Я упаду, — ответил человек на диске. — Ты обманщик, ты зовешь меня в пропасть...»

Трещина за трещиной — весь мир человека разваливается, а человек ни на чем при каждом повороте диска смотрит в глаза и мягким голосом зовет к себе: «Учись падать. Учись падать и держаться ни на чем».

Я помню вечер в Коктебеле, когда Зинаида Миркина читала свои стихи. «Нет, я еще жить хочу!» — воскликнул поэт Р. Он не хотел падать и держаться ни на чем. И как человек на своем рассыпающемся диске, он вцепился в обломки. Но диск рассыпается, открыты или закрыты наши глаза, видим мы трещины или нет.

Мир начинается с нуля.  
Из ничего встает Земля.  
И звезд немое волшебство  
Рождается из ничего.  
Из полной тьмы восходит свет.  
Из одного сплошного «нет»,  
Как океанская вода  
Разлилось мировое «да!».  
О, тот чреватый миром ноль,  
В котором утихает боль!  
Та точка, где весы стоят,  
Уравновешивая ад,  
Где Дух одолевает вес  
Всех гор и всех семи небес.  
.....  
Кто не доходит до нуля,  
Под тем колеблется Земля.  
Над тем гремит небесный гром —  
Тот не становится творцом.

Кто до нуля дойти не смог,  
Тому лишь только снится Бог  
И глаза Божьего овал  
Его пугает, как провал.

З.Миркина

Ноль Зинаиды Миркиной — это опустошенность сосуда, в который входит дух Целого. «Одна капля твари вытесняет всего Бога», — говорит Мейстер Экхарт.<sup>2</sup> Ноль — это ни одной капли твари, абсолютное ничто твари. И вот здесь, когда все очевидное рассыпается в прах, наступает черед веры. «Вера же есть... уверенность в невидимом» (Послание к евреям, 11:1), которое не может быть удостоверенно внешне и постигаемо только внутренне. Говоря языком автора, это черед истины без ее двойников, без застывших авторитетов, без слов, выцветших от тысячи повторов, миг авторитета внутри нас, миг творчества.

Зинаида Миркина обращается к истокам творческого самосознания, о котором писали «Вехи»<sup>3</sup>: к Пушкину, к Достоевскому — и изнутри Пушкина, изнутри Достоевского освобождает их от препятствий, созданных страхом падать и держаться ни на чем, когда вдруг терялась способность идти по водам — и, подобно апостолу Петру, они начинали тонуть (Матфей, 14:30—31). Это не внешний суд (очевидно, немислимый); это Пушкин судит Пушкина, Достоевский — Достоевского. Да, но устами Миркиной? Странно. Непривычно.

Литературоведы так не пишут. Филологи так не пишут. Пишут — поэты, а у каждого поэта свой Пушкин, свой Достоевский, и в этом своем Достоевском Зинаида Миркина видит его взлеты и провалы: так, как поэты видят взлеты и провалы своих героев. Ибо для каждого подлинного поэта его герой — сын, единосушный отцу... Можно не согласиться с Пушкиным Марины Цветаевой (у вас, может быть, — ваш Пушкин, ставший частью вашего внутреннего мира). Но некорректно возражать, что «Мой Пушкин» Цветаевой<sup>4</sup> — не настоящий Пушкин. Настоящий Пушкин — это именно Пушкин личного восприятия, Пушкин читателей, а не памятник на площади и не условная схема юбилейных статей.

Все поэтические воплощения Пушкина или Достоевского — это факты одновременно двух творческих биографий: посмертной — того, о ком пишут, и живой биографии пишущего. Творческая личность познается творческой личностью. Лирический отклик на лирику не менее истинен, чем структурно-семиотический анализ (целостно истинен). А доподлинный Пушкин, доподлинный Достоевский — вечная, неисчерпаемая тайна, к которой можно бесконечно подходить — и никогда нельзя окончательно, бесповоротно прийти так, чтобы и говорить больше не о чем и пересматривать нечего. Зинаида Миркина, может быть, глубже других заглянула в эту тайну: до конца, до предстояния вместе с Пушкиным и Достоевским на Страшном суде. Но это не документ из канцелярии с печатью Страшного суда. Это поэт глазом своего сердца увидел поэта. Каждый подступ к великой тайне — «опыт», эссе (слово эссе и значит: опыт, попытка). Это эскиз целого. Факты, документы — осколки целого. Сами по себе они не складываются во что-то живое. Душу в глину вдвует художник, монтирующий факты, создающий из «фактов жизни» Пушкина и Достоевского живого героя. Всегда единосушного его собственной личности. «Пушкинская речь» Достоевского говорит мне и о Пушкине, и о Достоевском (неизвестно, о ком больше). «Мой Пушкин» Цветаевой — о Пушкине и о Цветаевой. «Прогулки с Пушкиным» Синявского (Терца) — о Пушкине и о Синявском. Так и эта книжка — самораскрытие ее автора. На той предельной глубине, которая автору доступна.

Дух нельзя измерить ничем, кроме духа. Только собственной глубиной, ожившей от прикосновения слова, я могу проникнуть в глубину поэта. И в процессе измерения я одновременно изменяю и его (приближая к себе), и себя (приближаясь к нему, вмещая его в себя). Я постигаю его собой (это субъективно); но в ходе постижения я действительно меняюсь и в себе постигаю его (его, существующего вне меня). Бердяев писал, что глубинное познание «трансубъективно» (то есть лично мое и в то же время не только мое) — по ту сторону объективного и субъективного.

Познание Целого подобно борьбе Иакова с ангелом, как ее описал Рильке:

Кого тот ангел победил,  
Тот правым, не гордясь собою,  
Выходит из любого боя  
В сознание и расцвете сил.  
Не станет он искать побед.  
Он ждет, чтоб вышнее начало  
Его все чаще побеждало,  
Чтобы расти ему в ответ.<sup>5</sup>

Не очень важно, какого поэта мы больше познаем в «Моем Пушкине», в «Истине и ее двойниках» и подобной «прозе поэта». Важнее, что мы познаем Поэта и сквозь него — «Поэта величайшего». Так — поэтом величайшим — Тагор называл Бога.

Григорий ПОМЕРАНЦ

# ИСТИНА И ЕЕ ДВОЙНИКИ

**«Я на то родился и на то пришел в мир,  
чтобы свидетельствовать об Истине;  
Пилат сказал Ему: что есть Истина?»  
(Иоанн. 18: 37—38).**

**«Мы говорим о том, что знаем,  
и свидетельствуем о том, что видели;  
а вы свидетельства Нашего не принимаете».  
(Иоанн. 3:11).**



## ГЛАВА 1

### СОЗЕРЦАНИЕ

«Сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду кажется, что про то»<sup>6</sup>.

«Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить»<sup>7</sup>.

Это слова князя Мышкина, человека, имевшего настоящий религиозный опыт и потому о Боге не спорившего. Меньше всего надеялся он показать и доказать то, что открылось ему в тишине и в глубине. Все слова и доказательства — не про то, ибо «то» — не предмет среди предметов, не явление среди явлений. Все, что можно увидеть физическими глазами, показать и удостоверить — не то. Даже сам Иисус, увиденный одними физическими глазами — не то, не чудо, не Бог.

Чтобы увидеть «то», вовсе не надо закрывать глаза на «это». «То» не опровергает и не зачеркивает этот мир. Оно его только углубляет и высветляет. Увидеть «то» — значит увидеть сквозь этот смертный мир его бессмертную суть, вечность сквозь время, смысл сквозь бессмыслицу. Можно ли это понять и доказать тому, кто видит и чувствует не так как вы? Можно было спорить о том, что вокруг чего вертится: Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Для каждого века была своя научная истина. Я допускаю даже возможность спора о том, существуют ли Земля и Солнце на самом деле или только в нашем воображении. Но о том, люблю ли я солнце, люблю ли я красоту, люблю ли я моих близких и, наконец, Бога, — спорить нельзя. Я люблю. Это бесспорно. Верите вы этому или не верите, это другой вопрос. Но я-то знаю.

Бесконечность жизни ощущается так же, как и любовь: сердцем. Созерцание — это есть виденье сердцем, только сердце может доглядеть вещи до их невидимой сути, доглядеть творение до Творца, мир до Бога. Бога не видел никто и никогда. Это сказал еще апостол Павел.

Бог объективен, то есть извне, не удостоверяется, ибо Он внутри. Где-то очень глубоко внутри нас есть единая, общая всем точка, единый центр, единая реальность, без которой жизнь вообще немислима, которая и есть Жизнь Вечная.

Истинная вера есть абсолютность сердечного зрения. Обнаружение вещей невидимых, то есть умение видеть сердцевину жизни. Если же начались споры и разногласия, значит внутренне еще не увидено. Значит, мы — вовне.

Истинно религиозный путь — это раскрывание внутреннего глаза, это не спор об Истине, а развитие сердечного внимания, растущее затихание, в котором начинает звучать то, что вовне не слышно. Духовная Истина не

очевидна, но она внутренне бесспорна.

Однако вся история человечества, человеческой мысли, а заодно и история Церкви, есть история бесконечных споров, рассекающих истину на куски... Вечный спор о том, кто прав...

И, конечно, по обе стороны баррикад — цитаты из Евангелия (или других священных книг). «Не мир, но меч» (Матфей, 10:34). Но ведь Он же сказал: «Взявшие меч, мечом погибнут» (Матфей, 26:52). Как это совместить? Какую бы половину ни выбрать — все будет против Него, против целостной истины. А как совместить?

Когда-то фарисеи именно так Его и улавливали: «Позволительно ли нам давать подать Кесарю?»... И получили ответ: «Кесарево — Кесарю, а Божие Богу» (Лука, 20:22,25). Но как узнать, что кесарево, что Божие? Кто скажет?

Извне не скажет никто. И снова мы возвращаемся к жгучему вопросу: «Не мир, но меч»? Или «Взявшие меч, мечом погибнут»?

Попробуем выбрать второе. Кажется, весь дух христианства за это: «Любите врагов ваших» (Матфей, 5:44), «Блаженны миротворцы...» (Матфей, 5:9). Ну, а если на ваших глазах убивают ребенка? И словами о миротворцах оправдывается малодушие, трусость?..

Выход один: **внутри** должны быть некие весы, и никуда от этого не денешься. Нет правды на все случаи жизни. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфей, 6:33).

**Ищите.** Ибо оно всегда сокрыто. Только следы, только вехи на пути. Только притчи. Только образы...

Бог творит нас по Своему подобию. Он творит образ. То есть говорит, **каким** хочет нас видеть, а не как нам поступать. Целостное «каким быть», а не сборник правил, как быть в каждом случае.

**Ни одной директивы. Только образы.** В целостном образе совмещается логически несовместимое.

Если видеть сердцем целостный образ Христа, то нельзя не почувствовать, что Он скорее сто раз даст убить себя, чем один раз Сам убьет кого-либо. Если бы это было не так, не было бы распятия. «Отойди от Меня, сатана» (Матфей, 16:23), — говорит Он Петру, хотевшему во что бы то ни стало спасти Учителя от казни... И знаменитое «Взявшие меч, мечом погибнут» было сказано ему же, пытавшемуся мечом защитить безоружного пленника.

И все-таки всех, кто будет буквально выполнять Его слова, Он внезапно ошеломит так же, как ошеломлял фарисеев, нарушая букву закона и следуя его духу. «Не суббота для человека, а человек для субботы» (Марк, 2:27)... «Не мир, но меч»... по отношению к греху, ко злу. Не мириться со злом и грехом, в то же время бесконечно жалея и любя грешника, воистину бесконечно, вплоть до того, чтобы принести себя в жертву за всех.

Вот это «не мириться, любя», «не примиряться, жалея» и есть целостность, совмещение логически несовместимого. «Не мириться» — без любви и жалости — было бы тем, от чего Христос дальше всех на свете. Любить, жалеть и мириться с подлостью, низостью в душе любимого — это тот самый мир, о котором сказано: не мир, но меч.

Против зла стоять насмерть. Но как? А вот это никогда не известно. Только помнить, что оно и в других, и в тебе — одно и то же зло. И если приходится брать в руки настоящий, а не только метафорический меч, нельзя забывать, что это обоюдоострое оружие. Рубя других, ты можешь ненароком загубить доброту в себе самом. И тогда враг, пораженный

вовне, проникнет к тебе внутрь. И станет еще страшнее.

Итак, что бы Христос ни сказал, это не указание, а образ, и тот, кто приближается к образу Христа, в ком Христос изображается, тот и прав.

Главное — не спор о том, какая идея правильна, а какая — нет. Главное — это умение отличить человеческую идею, всегда относительно верную и неверную, от божественной, абсолютной истины, не определяемой нами, а определяющей нас. Но как отличить человеческое от божеского? Божеское от кесарева?

Этот вопрос ответа не имеет. По определению одного религиозного мыслителя,<sup>8</sup> только неправильные вопросы имеют ответы. Правильные — ответа не имеют. Правильные вопросы направлены внутрь, к Богу, который внутри нас. И ответить на них может только Бог — так как ответил Он Иову. О человеческих идеях можно спорить. Божественную Истину можно только созерцать.

Созерцание... Самое пассивное состояние души. Земля, принимающая семя. Абсолютная полнота внимания, сила которого обратно пропорциональна действию. Никакого движения. В том числе движения мысли. Никаких помех, Душа настроилась на прием. И тогда совершается таинство. Происходит зачатие от Духа.

И в физическом, и в духовном мире законы одни и те же. Нельзя выдумать себе ребенка. Так же как нельзя выдумать настоящую поэму. Она зачинается, вынашивается и рождается. Она может быть неудачной или удачной (как ребенок), но если она живая, на нее также распространяется заповедь: не убий...

Живое, сущее — не значит обязательно новое. Оно — вечное. И оно каждый раз заново рождается.

Нельзя просто повторить вечную мысль. Ее нужно созерцать. То есть увидеть сердцем, соединиться с тем, что видит сердце — зачать, выносить и родить заново. То, что только повторено, а не рождено, не живое. И оно бесконечно уступает самому плохонькому, самому неправильному и несовершенному, но живому. И это вечный соблазн для человеческого ума, которому всегда хочется повторить или ниспровергнуть (что очень часто — две стороны одной медали), но не родить заново... Дети, подростки повторяют или ниспроверяют — но они живут в мире, уже сотворенном; творить, рождать они еще не умеют. И наше, несколько тысячелетий насчитывающее человечество (если говорить о массе), — еще не вышло из школьного возраста. Легче всего нам повторить или ниспровергнуть (или делать и то, и другое сразу).

До сих пор длится на свете древняя мистерия: Иов и его друзья.

Бог предаст своего любимого праведника в руки сатаны, и тот отнимает у Иова все, что ему дал Бог: богатство, всех десятерых детей, здоровье. Иов поражен страшной болезнью. Он абсолютно немощен. И один в пустыне. «Похули Бога и умри», — говорит ему жена, которой опротивело его дыхание (Иов, 2:9, 19:17). «Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных; неужели доброе будем принимать от Бога, а злое не будем принимать?» (Иов, 2:10).

И вот приходят друзья и останавливаются перед Иовом и молчат, потрясенные. Если бы они не прерывали молчания! Если бы они отважились на созерцание, на полноту сострадания, на сопричастность!

Но созерцание, истинное духовное созерцание — это не просто пассивность. Это самый напряженный духовный труд. Это отказ от движения внешнего ради движения внутреннего. Это затихание, замирание всего, что вблизи и на

поверхности, для того чтобы услышать то, что вдали и внутри. Это размыкание своей малой цельности, самости для смыкания с великим целым — (не от себя творю) — сотворчество с Богом. Это ступень, на которой нелегко устоять.

И друзья Иова спохватываются. Им не по силам настоящий духовный труд. Они не дают своему молчанию созреть и принести плод. Священное бездействие, в котором вот-вот начнет действовать Бог, их пугает. Они начинают действовать сами. От себя. И вся великая мудрость веков — к их услугам. Только повтори. Выучил — повтори.

И они призывают мученика к покаянию. Если Бог свят, то Он прав. Если Он прав, значит ты не прав. Если Он наказывает — кайся!

И тут-то Иов не выдерживает. И проклинает. Не спешите говорить, что Бога. — Он проклинает ходячую мудрость, человеческие представления о Боге, а заодно и свои собственные представления, свою собственную накопленную мудрость и стойкость, свой разум, свою силу, свою способность терпеть. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!» (Иов, 3:3).

Все сметено. Весь хлам мертворожденных слов отброшен. Остается одна боль, одна истрадавшаяся душа и ничего больше. Молчание. И здесь, в молчании, становится слышным живой голос. Живой Бог ответил душе, которая отбросила все неживое и пробилась к обнаженной таинственной Глубине, к смыслу своего страдания. Бездна открылась Бездне. Гром. Буря. А потом — тишина. И в ней — Бог. То есть Чудо. Ощущение нового измерения Жизни.

Какие слова сказал Бог Иову? Если быть целомудренным, надо бы не повторять этих слов, никогда не повторять. То, что Бог сказал Иову — это Тайна. Было живое созерцание. Свершилось таинство. Из живого созерцания, как плод его, родились слова.

Эти слова не так уже многим отличаются от слов, которые говорили Иову друзья. И все-таки между словами Бога и словами друзей — бездна. Та самая Бездна, из которой рождается жизнь. Одни слова рождены. Другие повторены. Разница только в этом. Но не бывает разницы большей. Одни слова — таинственные — живые. Другие слова — лишённые всякой тайны — мертвые.

«Мысль изреченная есть ложь»<sup>9</sup>, — сказал поэт и продолжал всю жизнь писать, говорить — изрекать... Он хорошо знал, как трудно изречь и как трудно услышать мысль. Он предостерегал и говорящих, и слушающих от видимой легкости восприятия, от повторения вместо рождения.

Изречь мысль (или услышать изреченную мысль) значит зачать, выносить и родить. Мысль изреченная — готовая мысль, обретшая форму мысль, есть оболочка мысли. А у нее, кроме этой видимой оболочки, есть глубина. Тайна. Не причастившись этой Тайны, не изречеши живого и не услышишь живое.

МЕРА ЖИЗНИ

Истинная вера в Бога невозможна без созерцания. Вера без созерцания есть омоним веры, а по сути — ее антоним. Это «не та вера — не доверие глубине, раскрывшейся сердцу, а слепое доверие чему-то внешнему, чего сердце не знает». То, что знает сердце, **не нуждается в удостоверении.**

То, что можно проверить, — не Чудо и не Вечность. Ибо проверка лежит в области внешних глаз, внешних чувств, — на том самом поверхностном уровне, на котором Чудо существовать не может, как не может существовать в верхних слоях моря глубоководная рыба. Чудо — не нарушение физических законов, а обнаружение других законов, не противоречащих законам физического мира, **а не зависящих от них.**

Обнаружение Вечности внутри преходящего мира, обнаружение бессмертия внутри смертных существ... То, что только было или только будет, не есть вечное. Какое же оно вечное, если его нет сейчас? Можно проверить, было ли, можно проверить, будет ли, но можно ли проверить, есть ли?

Прежде всего — любовь. Можно ли проверить любовь?

По-моему, то, что можно и нужно проверить, не есть любовь во всем истинном значении этого слова. Любовь одаривает сердце **всей** полнотой жизни. Это и есть мерило. **Этим меряют.** Это же не меряют ничем.

Вот тут я предвижу остановку. Недоумение, а подчас и бунт сознания, привычно направленного на физический мир. «Как это не меряют ничем?!» Мы привыкли всё мерить. Мы не знаем того, что нельзя измерить. Любовь? Любовь меряется делами. Даже и Евангелие цитировать можно: «По плодам их узнаете их...» (Матфей, 7:16).

Да... совершенно верно. Как разобрать бедному королю Лиру, которая из дочерей действительно любит его? Разве не по делам, разве не по плодам? Ну, конечно, и по делам, и по плодам... — для слепых сердцем, не способных видеть... Корделия, Гонерилья и Регана были точно такими же, когда изъяснялись в своих чувствах к отцу, как и потом, когда проявили их на деле. Король Лир не видел, а верил в общепринятом смысле этого слова. Такая вера подлежит проверке. Иногда она ее выдерживает, иногда — нет. Но и подтвержденная, и опровергнутая, это — не та вера.

У Л.Андреева есть рассказ о человеке, страстно веровавшем. Но когда он не смог со своей верой сотворить чудо, он как бы в пропасть упал. Вера его рассыпалась. Это типичный пример «не той» веры: истинная вера не может рассыпаться никогда ни от чего на свете. Ибо все будет — «не про то», как говорил князь Мышкин.

Вера истинная ведет туда, где ничего измерить нельзя. Из мира поступков в мир причин и еще глубже — к таинственной Первопричине жизни. Все дела, плоды, результаты находятся в мире внешнем, в мире следствий, видимых, проявленных. Первопричина — не дело, не плод, не результат и ничем из перечисленного не мерится. Она мерится только самой собой. Истинно верующий уже сдвинул гору. Сдвинутая гора — это сброшенное с духа давление материальной силы, это непорабощаемость духа плотью, независимость от нее, внутренний выход в Царство, которое не от мира сего. В царство, где дела проверяются Любовью, а не Любовью —

делами. Ощущение полноты Любви в сердце и есть высшая точка жизни. Ее центр. Ее смысл. Внутреннее солнце, от которого расходятся жизнетворные лучи во внешний мир. «Бог есть Любовь» (1 Иоанна, 4:8).

В одной суфийской<sup>10</sup> притче Бог явился к святому и предложил исполнить любое его желание. «Зачем мне это, — ответил святой. — С меня достаточно того, что Ты есть».

Это предел веры, это полнота созерцания. Большого не может быть. Все уже есть. Сейчас и здесь. Тот, кто увидел Бога, увидел непреходящий смысл преходящих вещей, увидел все прошедшее и будущее. Смерть прошла. Прошло прошлое. Воскресение и жизнь вечная.

«Я есмь воскресение и жизнь», (Иоанн, 11:25) — сказал Христос слова, которые невозможно вместить тем, кто привык все измерять мерками разума.

### ГЛАВА 3

## УСИЛИЕ, КОТОРЫМ БЕРЕТСЯ ЦАРСТВО

Достоевский был тем Иовом, который докричался до Бога. И увидел. И онемел, потрясенный. Он почувствовал Нечто, за что можно отдать жизнь:

«Так ужасно ясно и такая радость... Если более пяти секунд, то душа не выдержит и исчезнет. В эти пять секунд я переживаю жизнь и за них отдал бы всю мою жизнь, потому что стоит».<sup>11</sup>

Это сказал Кириллов, но мог бы сказать и сам Достоевский. Он сам пережил предсмертное созерцание освещенного солнцем шпिला и не устанет говорить о пронзенности Богом, точно этим горящим шпилем. Насквозь пронзен и жив, а не умер. Случилось событие огромной важности: при яркой вспышке внутреннего света он отчетливо увидел цель своего пути. Увидел сам путь, и вырвались из сердца слова «смешного человека»: «И пойду! И пойду!»<sup>12</sup>

— Куда?

Да разве это объяснишь?

— Как?

Да разве это расскажешь?

Однако — идти и рассказывать, проповедовать Истину, которую он видел. Видел Истину... Так что же он, преобразился? Стал святым? Только ли свет исходит от него?

Нет.

В глубине его сердца как бы проступил образ святого — князя Мышкина.<sup>13</sup> От него он никогда не откажется. Это теперь центр его жизни, его глубинная святость. Образ человека, в котором отпечатался Бог, в котором произошло преображение. Человека, в котором умерло «эго». Соблазны? Борьба с соблазнами? Князь не знает этого. И не потому, что у него детское сердце, еще не понимающее сладости запретного плода. Так думают о князе часто, но это неверно.

Князь — сердцевед, почти ясновидящий, князь видит и знает больше всех окружающих его грешных людей; и если безгрешен, то не по неведению, а потому, что грех над ним не властен, его не тянет к греху;

красота Содома ни на мгновение не кажется ему красотой. Сердце его не раздвоено. Оно отдано божественной красоте. Любовь к этой божественной красоте, к Богу, которого увидел он внутренним зрением, выжгла грех. Он стал прозрачным чистым сосудом, наполненным светом. Он светится. Святой, светящийся... Его можно растерзать, но не соблазнить. Он навсегда оставит светящийся след.

А сам Достоевский?

Такого полного преображения в нем не произошло. Цельности нет. Одна часть души его у цели, в далекой глубине своей; другая — только начинает свой путь, спотыкается, падает, поминутно оглядывается. И все-таки: «И пойду! И пойду!» И идет. Внутренний человек зовет, внешний сопротивляется призыву духа. Идет великая борьба, может быть — до последнего вздоха жизни. Ясно только одно: она не может решиться в отрицательную сторону (в сторону внешнего человека).

Эти слова, сказанные Зосимой об Иване,<sup>14</sup> можно отнести и к автору «Карамазовых». Он любит князя Мышкина, любит святого, святость, как и Иван — своего младшего брата. От этой любви ему никуда не деться. Без нее он жить не может. И она и есть спасающая, охраняющая и направляющая сила его души. Это по ее велению он идет к своей цели, своим трудным, подчас страшным путем.

В глубине его души живет святой. Но жить на этой глубине — значит жить в постоянном созерцании. И даже тысячу раз пережитое созерцание еще не есть постоянное созерцание.

Постоянное созерцание, как и непрерывная молитва — это уже некое новое качество сердца и ума, — преображение.

Весь Достоевский — это порыв к преображению. И созерцание возможности преображения. Но самого преображения, — полного перерождения человека, перерождения его строя чувств, его желаний — еще не наступило.

В романе «Идиот» описано первое религиозное созерцание Достоевского: созерцание луча света на шпиле в ожидании казни. С тех пор это, может быть, не раз повторялось, — созерцание Вечности, созерцание смысла жизни. Те самые минуты, «в которые эпилептик Магомет обозревал все царства Аллаха».<sup>15</sup>

Действительно, эти минуты граничат с откровениями родоначальников великих религий. Личные свидетельства о Боге. Открывание третьего глаза или шестого чувства, видящего, ощущающего непреходящее, остановку времени, абсолютную полноту жизни. Но вслед за этими вознесениями земная физическая природа брала верх и наступала тяжелая тьма, оупление, почти что муки ада. Князь Мышкин говорил, что светлые минуты стоили всего. Впрочем, тут же прибавлял, что во время мучений он, может быть, и не считает, что минуты просветления искупают их, и все-таки вне всяких соразмерностей и логики знает сердце, что в минуты эти оно видело Истину. (Не куцую правду факта, предстающую глазам, а бесконечную Истину-смысл, предстающую сердцу).

Одновременно или сразу вслед за созерцанием Высшего Света приходит к Достоевскому и созерцание греха. Вернее, в этом новом свете становится видна истинная природа человека — и Высший Образ, по которому он создан, и бесконечность отдаления его от этого Образа — глубина падения. Вместо туманной мечтательности приходит видение

действительности со всей ее красотой и ужасом. Со светом, вонзающимся во мрак, и мраком, грозящим затмить свет. В этой борьбе света и мрака — весь Достоевский. Придет он или не придет к постоянному свету, победит или не победит, — но огромная воля к свету есть, и она струится со страниц его романов. Все они, начиная с «Преступления и наказания», — это великая, может быть, неслыханная в мировой литературе по силе искренности и глубине исповедь. Это обнаружение своих бесконечных сомнений, бесконечных грехов своего ума и сердца. (Да, и ума, и сердца. В одних романах внимание больше сосредоточено на грехах ума, в других — на грехах сердца).

И вот в мир, на обозрение всем хлынул такой поток откровенности, которого человечество еще не знало. Никто никогда в мировой литературе еще не заглядывал в такие глубины подсознания, в такие темные уголки души и вместе с тем никто и никогда не подступал так близко к самому Источнику света.

Немудрено, что читатели были ошеломлены. Герои Достоевского были списаны как будто вовсе и не с них, и не с их соседей. На самом деле люди просто не умели видеть ни себя, ни своих соседей. У них было другое зрение. И вот поступки героев, в которых созерцаются и воплощаются невидимые, не выявленные движения души, воспринимались как поступки самого автора. Дошло до того, что Достоевского обвинили в грехе, который он считал самым страшным на свете. Ставрогин<sup>16</sup> и его творец сливались в сознании читателей в одно лицо.

При этом забывалось одно неимоверно важное обстоятельство: самый страшный герой Достоевского (ибо страшнее Ставрогина нет) не отважился на покаяние. Его проект покаяния был игрой с самим собой. Он смог все, на что его подбивал дьявол, а послушаться Божьего голоса не смог. Здесь он оказался немогущ. Не хватило того самого усилия, которым берется Царствие Небесное. Усилия покаяния, — усилия отталкивания от нашей грешной природы.

Достоевский вовсе не делит мир на всегда плохих и всегда хороших, на ангелов и демонов. Все динамично. Праведник — не тот, кого Бог таким сделал, а тот, кто сам себя поднял из грязи. Он мог быть самым закоренелым грешником. Чудо в том, что и для такого грешника возможно полное преобразование, если он по настоящему от всей души покаяется.

Такое покаяние и есть чудо. На него нужна великая душевная сила и великая воля к свету. На это не был способен Ставрогин. На это был способен Достоевский. И поэтому расстояние между ними большее, чем от неба до преисподней.

Когда Тихон Задонский, этот истинный святой, говорит Ставрогину: «Я, может быть, грешник больший, чем вы», — это не только заученная формула христианского смирения. Это еще утверждение единой природы всех людей, одного теста, из которого делаются и святые и грешники.

Одного теста? Да разве все на самом деле сделаны из одного теста? Разве не с разными дарами, не с разными возможностями люди рождаются на свет? Одного к греху тянет, и преодолеть это тяготение ему трудно, а другому нет ничего труднее, чем согрешить. По крайней мере — так согрешить.

И все же первоначальная природа у всех едина. Какая таинственная работа совершалась в предсуществованиях наших, когда душа удалялась

от своей истинной природы, мы не знаем. И однако вот главное, что мы знаем, что должны знать: наша истинная природа, Образ, по которому мы все созданы, — священный Божий образ. И двигаясь к очищению, к святости, мы движемся внутрь, по направлению к нашей собственной сути. Чем дальше человек ушел от своей природы, тем труднее ему вернуться. Но возможность вернуться есть всегда и у всякого. Грешнику совершить такой поворот труднее, чем праведнику. И именно потому усилие его ценится невероятно высоко. И радость об одном раскаявшемся грешнике более, чем о десяти праведниках.

Природа у святого, и у грешника — одна. Отличие святого не в иноприродности, а в том самом усилии, которое могут сделать все. Дерзай! Ставрогин на мерзость дерзнул, а на святость — нет.

## ГЛАВА 4

### ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

Ставрогин сочетал в себе грехи и ума, и сердца. Он был как бы хром на обе ноги сразу. Сочетание для героев Достоевского достаточно редкое.

Обычно его страдающие герои — либо мученики идеи, ум которых не принимает Бога, либо мученики плоти, изменяющие Богу, не переставая при этом любить его бессильной, но неотступной любовью.

Разум и Ивана Карамазова<sup>17</sup> и Раскольникова<sup>18</sup> хочет строить мир по-своему, установить свой порядок вместо Божьего. Бог их не устраивает. Бог для них — выдумка твари дрожащей. А бесстрашный, по их мнению, знает, что нет Высшего — и сам становится высшим. Это — гордыня ума, великий грех разума, который сдерживает только душа, только живущая в ней любовь. Пока бунтующий гордец любит и страдает, он еще жив, есть надежда. Чем больше страдания, тем больше надежды.

Но взбунтовавшийся разум борется с душой, с любовью, со всеми «низкими» чувствами. И вот Раскольников убивает Алену Ивановну и Лизавету... С первого же шага защитник невинных убивает одну из самых невинных, самых чистых, самых кротких. Ему не давали покоя глаза засеченной лошади? А глаза Лизаветы?

Иван, собственно, не делает никакого шага. Он только примеривается, только думает. И хотя Бог как будто очень мешает ему, он смутно чувствует, что не может стать на Его место, что-то здесь не то... Не так. Не может он без Бога, хотя почему — непонятно. Ничего не удается поделить с дурацкой, не внемлющей логике душой, которая никакими «позволениями» пользоваться не хочет, не может, да и все тут! Так что Иван, как и Раскольников, не доволен собой, не соответствует он собственному идеалу, не удается ему до конца восстать на Бога.

С другими героями все обстоит иначе. Они еще глаз не смеют поднять на Бога. Ни о каком восстании речи нет. Бог их незыблем в небе. Но вот сами себя они не устраивают. Не устраивает себя Мармеладов,<sup>19</sup> не устраивает себя Митя Карамазов... Не устраивает их человек вообще (широк, слишком широк человек...).

И еще один герой (или антигерой) есть в мире Достоевского: человек из подполья.<sup>20</sup> Может быть, первый, кто осмелился до конца заглянуть в самого себя и увидеть не благообразие, а мерзость, был именно человек

из подполья. Отшатнулся ли он, ужаснулся ли он — это другой вопрос. На это у него не хватило силы. Но он увидел. И не скрыл. Он увидел, что обезбоженный человек скрывает в себе беса. И, может быть, потому увидел, что глубже жил. А тот, кто живет мельче, так тесно сросся со своим бесом, что может мирно сосуществовать с ним, вовсе его не замечая, и воображая себя благородным и прекрасным.

Подпольный человек слаб; у него нет силы на борьбу с бесом, но он видит. И это не так-то мало. Это живой открытый вопрос о природе человека, поставленный в истоке великих романов Достоевского.

Собственно, с двух этих вопросов и начинается великий Достоевский: о природе человека и о существовании Бога. Действительно ли свят и совершенен Бог или все это выдумки и нет ни святости Бога, ни Его самого? Действительно ли прекрасен естественный человек или стихийное животное начало наше уже исказило свою истинную божественную природу и нужен великий духовный труд, чтобы к ней возвратиться?

Эти вопросы романы Достоевского решают так, как будто бы раньше их не решал никто. Герои неотрывно вглядываются в бездну своей души, вызывают бури — и бросаются им навстречу. Иов, буря и Бог почти в каждом романе. Хотя Иов Достоевского редко бывает Божиим праведником. Чаще всего это Иов-грешник. Однако сила страдания очищает его, сжигает грех, открывает Богу дорогу в сердце и Раскольников подхватывает луч, протянутый с неба. Протянутый всем: только возьми...

Ставрогин этого луча не подхватывает. Он не хочет помощи. Он сам все может. Иван провозглашает: «Все позволено»,<sup>21</sup> и не может (спасительная немощь). Ставрогин может. Он гораздо последовательнее и Ивана, и идеалиста Раскольникова (Шиллера, как говорит о нем Свидригайлов).<sup>22</sup> Если нет Бога, то побоку и всякую мораль. Природа человеческая плоха? Превосходно. Чем хуже, тем лучше. Нужна только сила. Родион Романович долго упрекал себя в недостатке силы. Ну, а Николай Всеволодович чувствовал в себе силу беспредельную. Только и делал, что пробовал силу свою, и убеждался, что она беспредельна. Так ли ему была нужна Матреша? Нет, конечно. Ему нужно было убедиться, насколько способен он попирать все божеские законы. Может быть, это был экзамен на последнюю ступень адского могущества... Сдал экзамен.

Есть две противоположные друг другу силы — любовь и власть. Если любовь есть внутренняя полнота жизни, то власть есть заполнение пустоты. Если любовь — жизнь истинная, то власть — жизнь кажущаяся, замена жизни, возможность жизни, возможность жить при отсутствии жизни.

Хочу сразу избежать спора о словах.

И «Любовь» и «Власть» могут иметь разный смысл. Любовь может быть корыстной и грешной, а власть — необходимым учреждением и освященной Богом тяжелой обязанностью. Такая власть всегда уравновешена ответственностью и не противоречит любви. Может быть, наконец, власть внутренняя. Это и есть власть Бога. Но внутренняя власть никогда никого не поработает. Верный раб Божий — это человек, служащий внутреннему Господину. Это правильно установленная иерархия, внутренний космос. Здесь же я говорю о другом: о бескорыстной любви ко всему существу и о власти, как о внешней силе, как о стремлении к безраздельному господству над другим. Ваалы — властители. Дьявол —

князь, властитель мира сего. А Бог — это любовь, царь внутреннего царства. Бог — освобождающая душу любовь, дьявол — порабощающая душу власть.

«Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоанна, 4:18). Абсолютная власть мира сего как будто тоже не знает страха. Но это внешнее сходство антиподов. Опустошенный, опорожненный от Любви человек устремляется к власти. И становится бесстрашным властелином. Как будто становится... Кто знает, какой-нибудь каторжник Орлов, может быть, и становится, а Ставрогин... не совсем.

Сверхчеловек, человекобог наткнулся на свое «не могу». И эту подножку подставила ему красота. Он вдруг увидел сон поразительной красоты, любимый сон Достоевского, который снится многим его героям: золотой, закатный свет с картины Клода Лоррена... образ внутренней красоты безгрешного человечества. Ставрогину — такой сон! Да. И он чувствовал, может быть, вспоминал душой неслыханное счастье — может быть, его душа вспоминала в этом сне саму себя еще не искаженную, не искаленную, живую, созданную по образу и подобию Бога своего. И вот именно в этом золотистом свете, в истинном свете души своей стал невозможен, невыносим ему его страшный грех. И пришла Матреша со своим поднятым кулачком. И кончился всемогущий Ставрогин. Он уже не смог. Человекобог рухнул. Остался грешный человек, которому протянут луч, паутинка. Спасайся!..

В страшном положении наш мир. Хотя, благодарение Богу, не все, далеко не все дошли до ступени Ставрогина, но все грешны. И если даже Ставрогину можно спастись, то ведь всем, всем можно! Вот где пришла пора действительного испытания силы.

Но здесь он не выдержал.

## ГЛАВА 5

### ДВА СТРАХА, ДВЕ СВОБОДЫ

«Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоанна, 4:18). И абсолютная власть его тоже изгоняет. Друг другу противостоят два бесстрашных: Бог и дьявол.

Совершенная Любовь изгоняет страх дьявола — страх внешнего. Тому, в ком совершилась, восполнилась Любовь, ничто внешнее не страшно. Даже сам ад. Сила Божия не в том, что Он может уничтожить ад, а в том, что ад не может уничтожить Его. Как бы ни старался. Никогда. Бог — это выход сквозь ад, выход сквозь безвыходность. Ад — внешнее. Бог — внутреннее. Выход внутрь, открытый для любого грешника. Открытый всегда. Только сделай шаг. Ступи. Там, внутри, не страшны никакие обстоятельства, никакие физические законы. Там есть нечто, не зависящее от этих законов и законы эти творящее.

«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн, 2:19). Что это значит? Если здесь говорится о чуде, которое могут увидеть физические глаза, то почему: «мир уже не увидит Меня, а вы увидите» (Иоанн, 4:19)? Почему, наконец, Он просто не сошел с креста, доказав этим всем и каждому свое всемогущество? Сошел с креста или воскрес

на глазах у всех — не такая уж большая разница. Тут дело в ином... В том, что не происходит на глазах у всех... А только в таинственном **внутреннем пространстве**. (То, что происходит потом, «на глазах у всех», — весь мир наш и каждая песчинка этого мира — имеют корень и причину в таинственном «внутри». И все тайное станет явным. Но тайное никогда не сведется к явному и не мерится явным. Оно само по себе мерило. Его нельзя доказать и показать. Внутреннее предстает лишь внутреннему. То, что Христос умер, видели все. То, что Христос воскрес, видят немногие). Бог не уничтожает ад, но Он его бесконечно превосходит. По сравнению с бытием Бога, ад — небытие, ничто. Бытие кажущееся.

Страх Божий — это страх внутреннего своего, это страх перед своей собственной **жизнетворной глубиной**, перед Творцом. Постоянный внутренний трепет свободного сердца, боящегося попасть в рабство к внешнему, отторгающему от самого себя.

Мы знаем словосочетание «страх Божий». И как-то не принято другое: страх дьявольский. Есть просто страх, обычный, порабащающий душу страх внешнего — страх перед обстоятельствами, страх перед творениями видимыми, все более уводящий от невидимого, бесплотного Творца. — От своей собственной божественной сути. Это страх тварный. И все же он от дьявола, этот страх. От князя мира сего. Он внушен его властью над нами.

Есть священный внутренний трепет — страх оскорбить того, кого люблю, кто любит меня и дает мне жизнь. Этот страх углубляет и возвышает душу. И есть унижительный трепет раба перед господином, унижительный страх слабого перед неодолимыми обстоятельствами. Этот страх мельчит, унижает душу.

Бог учит не бояться дьявола. Дьявол учит не бояться Бога. Вера в Бога — ощущение полноты бытия только во внутреннем пространстве, ощущение независимости этого пространства ни от чего внешнего. Живое ощущение это, которое есть не что иное, как собрание любви, собрание Духа Святого, в конце концов изгоняет страх внешнего. Совершенная любовь изгоняет тварный страх, побеждает его. Но процесс совершенствования любви идет через сталкивание страхов.

Если страх обидеть в тебе больше, чем страх быть обиженным, страх причинить боль больше, чем страх испытать боль, значит ты больше веришь Господину внутреннему, чем господину внешнему. Значит твоя любовь к этому Внутреннему говорит тебе все более и более внятно, что истинное бытие и истинное могущество сосредоточены только внутри. И ты все больше убеждаешься, что внешнее бытие — временное и в конце концов **кажущееся**, а внутреннее — **вечно сущее**. Ты все более убеждаешься, что главное в жизни твоей зависит вовсе не от кого-то и не от чего-то, а от тебя самого, потому что ты властен обидеть или не обидеть, причинить боль или не причинить (великая власть!..); и сам властен вынести обиду и боль от других, не замутясь душой, не позволив вырвать ее из глубины на мель и разъединить со своей сутью.

Любовь к этой сути, к **жизнетворной вечной глубине**, любовь к Творцу освобождает душу от страха перед тварью. Любовь к Творцу есть живое ощущение нашей общей, невидимой глазам Вечности, общего нам всем внутреннего пространства. Страх потерять это пространство, потерять вечность, быть извергнутым из нее во тьму внешнюю, изгоняет страх перед самыми большими страданиями.

Два страха, две смерти противостоят друг другу... Самое совершенное из творений — Иисус Христос — не был свободен полностью от тварного страха. Его слезы в Гефсиманском саду... Его смертный пот... Его до сих пор не отзвучавшее восклицание на кресте... Страх тварный в Нем был, поскольку и в Нем была природа человеческая. Но его победил страх Божий. Победила полная готовность растворить свою человеческую волю в воле Божественной. Да, пусть убьют, пусть распнут, но любовь останется цельной, свет не уйдет из сердца.

«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»... (Лука, 23:31). Большого не может сказать человек в свой страшный, свой смертный час. Предельная вера в Творца. Большой быть не может.

Нет, не магическое избавление от смерти, а прохождение через смерть. Сознательный выбор одной смерти во имя избежания другой. Смерть для внешнего, временного, во имя жизни внутреннего, вечного. (Я умру, да будешь жив Ты!). Смертию смерть поправ.

Дьявол — тварь. Сильнейшая из тварей. Может быть, не дрожащая тварь... Бесстрашная тварь, но тварь, а не Творец. Той дрожи, того трепета, который соединяет тварь с Творцом, в нем нет или почти нет (он предельно мал, этот трепет; он побежден духом власти, упоением своей властью). Дьявол княжит в мире сем — внешнем; правит тварями, владеет ими.

Как? Почему? Почему Бог позволил это? Обычный вопрос, порожденный вечной путаницей. Люди упорно представляют себе Бога как власть, которая может что-то кому-то позволять или не позволять... Путаница между внешним и внутренним, между Божиим и тварным.

Нет, Бог не управляет жизнью извне. Бог только есть среди небытия и Он не дает небытию поглотить Себя. Сущность Бога — **БЫТЬ И ТВОРИТЬ**. Дьявол же не может ни того, ни другого. Он не причастен к полноте бытия — жизни вечной. Он не причастен к творчеству жизни. Что же он может? Только обладать тем, что сотворил Бог. Обладать и распоряжаться. Ибо Творец не обладает ничем. Творить и обладать — противостоящие друг другу понятия.

Творчество — это дыхание Творца, ритм, движение, поток. Обладание — задержка дыхания, остановка сердца. Дьявол может обладать тем, что сотворил Бог. Только не самим Богом.

**БОГОМ, — ЖИЗНЬЮ, — ЛЮБОВЬЮ** — владеть нельзя. Этому можно только причаститься, преодолев самость, отдельность. Дьявол — тварь Божья, не желающая причаститься Богу. Тварь, стремящаяся подчинить Бога себе. Но здесь предел всякой власти, всякого могущества. Здесь всякая тварь линяет, теряет силу. Жадная старуха, получившая все, что только могла пожелать, остается при разбитом корыте, как только помыслила завладеть Золотой Рыбкой.

Во внешнем мире может господствовать. Но всегда остается нечто, ей неподвластное И это **НЕЧТО** — главнейшее — суть бытия. Здесь — область того непонятого, иррационального страха, от которого не свободен и дьявол. «И бесы веруют и трепещут» (Иакова, 2:19). Тот самый священный трепет, страх внутреннего своего, — он есть и у бесов... И заставляет их иногда цепенеть и отшатываться от непонятого, неподвластного им...

Как смущен Мефистофель, когда Фауст посылает его в царство Матерей. Развязный, ни перед чем не останавливающийся, черт впервые

замирает и говорит, что ему туда нельзя. Там... Он даже не в состоянии выговорить. Там — ничто, никакой твари. Ничего сотворенного. И однако — бытие. Он его чувствует, как собаки чуют привидения. Здесь граница. Здесь черт кончается с концом всякой твари. Дальше — Творец. И Его не испугается только причастный Ему, причастный творчеству. «В твоём ничто я мыслю всё найти».<sup>23</sup>

Мефистофель, может быть, близок к черту Ивана Карамазова: мелкий бес, лакей, приживальщик. Озорник, наслаждающийся своими проказами, но неспособный ни на что крупное. Перед страданием, перед угрозой гибели он бежит. Но есть ведь другие черты, покрупнее. У чертей ведь тоже есть своя иерархия. Как поведет себя перед «ничто» демон высокого полета? Романтический, страдающий демон, герой Лермонтова, Врубеля? Носитель света — Люцифер — вспыхнувший так ярко, что почти ослепил мир и много душ прожег дотла... Он способен созерцать величие Творца. Он и блеск взгляда Его может выдержать, но... «на челе его высоком не отразится ничего».<sup>24</sup> Ни малейшего содрогания. Ни мига того священного трепета, который говорит о существовании чего-то большего, чем он. Нет большего. Нет предела его гордыне. Он сам не менее прекрасен, чем вершины Кавказа, сверкающие, как грани алмазов. Божий первенец.

И в отличие от всех мелких бесов он глубоко, нестерпимо страдает. Он исчерпал все возможности жить отрицанием. Дошел до дна наслаждения властью, могуществом — до пустоты. Мефистофель содрогался при мысли о пустоте. Этот — не содрогнулся. И очутился в пустоте. Он не раб. Он безгранично свободен. Свободен от всякого страха. Свободен от... жизни. Вот оно — адское страдание: жить без жизни. Жить, не чувствуя ничего, что могло бы привязывать к жизни. Уж какой тут аппетит к жизни! Тут жажда смерти, но смерти нет, нет, нет!..

«Ничтожной властвуя землей, он сеял зло без наслажденья. Нигде искусству своему он не встречал сопротивленья, и зло наскучило ему». «Вослед за веком век бежал, как за минутою минута однообразной чередой»...<sup>25</sup> Бесконечное повторение. Вместо тайны рождения и воскресения, утомительное однообразие, механический такт вместо ритма. Если Бог есть полнота бытия, дьявол есть пустота небытия.

Бездна Бога и бездна дьявола, зеркально отражающие друг друга, внешне подобные, в сущности абсолютно противоположные...

Сатана есть тварь не дрожащая. Тварь бестрепетная и потому совсем погибшая, совсем непричастная к бытию, совсем свободная от Творца своего.

Свобода... Их тоже две. Нет одной свободы в этом мире. Есть свобода твари. И свобода Творца. Бунт дьявола, его восстание против Бога начинается во имя свободы. Свобода твари против свободы Творца.

Свобода тварей означает свободу множеств, сталкивающихся между собой. Свобода миллионов означает войну миллионов. Свобода Творца есть свобода того глубинного жизнотворного начала, которое объединяет всех и вся. Для того, чтобы быть действительно свободным, надо найти свое единство со всем миром. Иметь великий страх Божий — страх обидеть другого, вплоть до жертвенного желанья: лучше умереть самому, чем причинить боль другому.

Освобождение от страха тварного может быть только за счет возрастания страха Божиего. Полностью свободен от всякого страха только

Сам Бог. Там, внутри, господствует Бог, не боящийся дьявола. Здесь, вовне, — дьявол, не боящийся Бога. А между ними — страх и трепет тех бесчисленных, кто еще может спастись и еще может погибнуть. Поле боя.

## ГЛАВА 6

### РАСКОЛОТАЯ ДУША

Ставрогин хотел быть бесстрашным. Во что бы то ни стало бесстрашным. А от какого страха быть свободным, это ему до поры до времени все равно. Впрочем, может и не все равно ... Слишком много было намешано в этом человеке. Слишком много совмещалось несовместимого. И ему надо было понять, прежде всего во что бы то ни стало понять самого себя. Испытать. И быть честным. В честности ведь ему не откажешь. То, что он украл деньги бедного чиновника, — пустяки. Ведь не деньги ему нужны были. Нельзя было ответить самому себе — может ли он красть, не попробовав, не испытав. Попробовал. Ответил. Честно ответил: может. И так во всем. Он препарировал собственную душу, как какую-нибудь лягушку. Может быть, подчас бывало и больно, и не очень приятно. Ну так что? Это надо было победить. И побеждал. И какое наслаждение испытывал от победы! Вынесенное унижение, снесенная пощечина — все, все могу!

Но все-таки страх в нем был ... И не все, не все еще он мог ... И тот поразительный, заветный для Достоевского сон приснился Николаю Всеволодовичу не случайно. В каких давних предсуществованиях душа его знала рай — нам не известно, но она его знала, и что еще важнее, — не забыла. Ибо и Люцифер знал. Был же он светоносным ангелом... В этой душе, непостижимым образом совмещавшей несовместимое, жило воспоминание о божественном созерцании. Жило.

И вот это-то увидела в нем блаженная Марья Тимофеевна, вот почему и прозвала его светлым князем. Если Лизу завораживала его таинственная сила, а Дашино материнское сердце тянула невидимая никому слабость, — то Марья Тимофеевна провидела тайную красоту, спрятанную в глубине его души.

Эта красота была. Но ... была не только она. Она совмещалась с чем-то, чего восхитенное цельное сердце провидицы до поры до времени не замечало. Хромоножка поверила в светлую красоту и в веру своей обманулась.

Красота Ставрогина была расколота внутри себя на две: красоту Мадонны и Содомы. Влекло и то, и другое. Красота Мадонны не оскорблялась страшным соседством, не вытесняла, не выжигала своим светом тьму, а мирно уживалась с ней, стихийно присутствуя при разложении души на составные части.

Ангел церкви Лаодикийской был не холоден и не горяч (Откровение, 3:14-19). Не так холоден, чтобы потушить, заморозить воспоминание об увиденном сердце рае, и не так горяч, чтобы возненавидеть ад и сделать великое житнетворное усилие, — собрать всеедино расколотую душу. Он продолжал исследовать, что он может, а чего не может. Нет, не одно безобразие заставило его жениться на Марье Тимофеевне. В нем таилась

великая возможность. Он мог, может быть, Он был призван запеть осанну и воскликнуть, как Тихон: «Креста твоего позорного да не постыжуся!».<sup>26</sup> Но он не сделал этого. Священный уголок его души, в котором таилась искра несотворенного света, подвергался исследованию, как и все прочие. И это было кощунство.

То, что открылось самой глубине твоей души, самому внутреннему — не проверяется. Оно животворит втайне. Внутри. Оно само проверяет всех и вся. Но когда перед тобой встает Бог истинный и твое сердце хоть на миг вздрогнуло, вспомнило — узнало, — склонись и замри.

Все вопросы: «как распознать?», всяческие «как?», «где?» и «почему?» — здесь неуместны. Сердце или знает, или нет. Но если знание хоть на миг коснулось сердца, оно не вправе забыть, оно должно быть верным этому знанию. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите ...» (Иоанн, 9:41). Великие, полные таинственного значения слова Христа. Видел, но не поверил. Ибо имел оба страха сразу. И страх Божий ( нет, не умер этот страх, как ни убивал его), и страх тварный, страх внешнего, боязнь довериться внутреннему; ибо все внешнее, все очевидное было против: не мог никак существовать в этом мире Бог. Это доказывалось разумом, как дважды два — четыре.

Против этой кеуцы истинки бунтовал еще подпольный человек — самый прямой предшественник Ставрогина, — он показывал язык хрустальному дворцу, выстроенному по законам разума; он говорил: « я согласен, что дважды два — четыре — превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два — пять — премилая иногда вещица». <sup>27</sup> И внутренний человек в Ставрогине бунтовал против всех этих «дважды два—четыре» — и все-таки отбросить их никак не мог. Он оставался в плену у арифметики и проверял ею даже те отголоски истинного откровения, которые у него по временам бывали. А расколотое сердце поддерживало грех разума.

Одинаковая тяга к двум идеалам красоты — Мадонны и Содома, лишала силы, делала светлого князя, призванного к подвигу любви, — самозванцем, Гришкой Отрепьевым.

Дьявольская красота отличается от Божьей тем, что не ведет сквозь себя, далее себя (далее образа — в Несотворенное, внеобразное), а останавливается на себе самой. Она — не путь, а ловушка. (Не выход в бесконечное, а задыхание в конечном. Красота тварей, которая не ведет к Творцу).

В мире Достоевского есть две красоты: Красота, которая мир спасет (Божественная), и Красота, как страшная, ужасная сила (демоническая красота).

Демон, обладающий красотой, может знать все о величии Бога, он почти во всем подобен Ему — кроме одного: он — тварь. Он — отдельность. И от этого не откажется ни за что.

Он хочет войти в безграничность вместе со своей ограниченностью, со своей отдельностью. Ненасытимая адская жажда, бесплодная, не знающая конца мука падшего ангела...

Равная Богу тварь ... Может ли быть больший соблазн для твари, чем ее, твари, равенство с Богом?! Он все еще носитель света — Люцифер, умеющий заставить мир вспыхнуть всеми цветами радуги, увлечь невиданной яркостью впечатлений, опоить сверканьем, звуками, ароматами.

И для тебя с звезды восточной  
Сорву венец я золотой,  
Возьму росы с цветов полночных,  
Тебя осыплю той росой.

.....  
Я дам тебе все, все земное,  
Люби меня <sup>28</sup>

И как еще его любят! Как жалеют! Величественный страдалец ... Демон, Печорин — и вот рядом с ними Ставрогин. Мужчины заворожены им. Женщины по одному его мановению забудут все, чем жили, пойдут, как крысы за дудочкой крысолова, на край света, пойдут, может быть, на предательство ... На забвение всего, чем дорожили в жизни. И только одна юродивая, обиженная Богом, полоумная Хромоножка в ответ на его вопрос: «Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?» — скажет: «Об вас я совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить». И в ответ на все его сатанинское величие презрительно усмехнется. «Прочь, самозванец! — повелительно вскричала она. — Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!».<sup>29</sup>

Эта калека, эта слабейшая из слабых совершенно отбросила тварный страх: страх Божий (никогда никого не обидит) и любовь к Богу вытеснили, выжгли в ней все тварное! Как свободно парит она в духовном пространстве! Как видит все скрытое!

«Нет, не может быть, чтобы сокол филином стал. Не такой мой князь!» — гордо и торжественно подняла она голову. И когда Ставрогин отвечает ей, что она его не за того принимает, что князем он никогда не был, Марья Тимофеевна приходит в исступление. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом». (1 Коринфянам, 3:19). А безумие в глазах мира сего и есть духовная мудрость. Он не принимает этого? Он отказывается от законов мира духовного? Не князь?! Отказывается от своего призвания к подвигу любви и веры?

«Господи! — всплеснула она руками. — Всего от врагов его ожидала, но такой дерзости — никогда! Да жив ли он?.. Убил ты его или нет, признавайся!» Ей дела нет до очевидности, до фактов, — истинок этого мира. Она провидит то, что есть в мире духовном. А в духе он убил в себе князя. Убил Божий образ. И вот понеслось в темноту, вослед убежавшему «сверхчеловеку»: «Гришка Отрепьев а-на-фе-ма!».<sup>30</sup>

## ГЛАВА 7

### ВЗЛОМАННАЯ ТАЙНА

Рядом со Ставрогиным находятся люди, в жизни которых он сыграл неизмеримо большую роль; люди совершенно разные, иногда до полярной противоположности. Но все они как-то пересекаются, скрещиваются в ставрогинской душе.

Это и Марья Тимофеевна, и Кириллов, и Шатов, и Петр Верховенский — со всеми «бесами», выпущенными им на вольную волю.

Кириллов — одна из самых страшных фигур в мире Достоевского. Ему

отданы глубочайшие, священные слова. Он пережил, он знал сердцем то же, что и святой — князь Мышкин. И, однако, если князь и в болезни, и в безумии своем остается светом, то Кириллов и в доходящем до откровения свете своем остается безумцем; и кажется, что он бредит у нас на глазах.

Созерцания у князя и у Кириллова — одни и те же. Они просто буквально совпадают. Оба пережили реальность Высшего Света, как бы увидели смысл жизни, узнали, что за минуты эти можно отдать всю последующую жизнь, — «потому что стоит...». Почему же из столь одинаковых созерцаний — столь разные выводы?

Очень долго Кириллов казался мне «ошибкой Достоевского», образом, который сконструирован умом. Казалось, что из такой полноты созерцания нельзя сделать столь безумных выводов... Но теперь я знаю, что образ Кириллова — не ошибка. В нем сказалась великая правда. Князь Мышкин в минуты высшего созерцания ничего не хотел, кроме того, что есть. Он мог бы сказать, как святой из суфийской легенды, которому Бог обещал выполнить любое его желание: «У меня нет желаний. Мне довольно того, что Ты есть». Полнота созерцания Бога есть преобразование человека. Нет больше желаний, ибо все совершилось. Нет прошлого и будущего. Есть бесконечно расширенное настоящее. Это и значит: нет времени. Есть Вечность. Нет ничего внешнего. Все внутри. Источник жизни — Бог — Царство Божие — внутри.

Где есть большее богатство, чем в сердце, вместившем все? Кто может что-либо дать этому сердцу? Никто. Оно же само может давать бесконечно. Солнце ни у кого не просит света. Сердце, ставшее солнцем, непрерывно изливает в мир самого себя...

Князь Мышкин стал таким сердцем-солнцем, — святым — светящимся — светящим. Его душа уже видит по ту сторону разделений, по ту сторону часов и дней, жизни и смерти. Абсолютно не постижимым для разума образом он знает, что смерти нет (хотя она все-таки есть), что страдания нет (хотя оно есть... и как ещё есть!).

Эти «есть» и «нет» относятся к разным планам, пластам бытия. Мышкин видит глубинный, вечный пласт; глубинную тайну жизни. Он созерцал необъяснимое. Он видел невидимое. Видел, вовсе не уходя из этого видимого мира, а только доглядев этот мир до конца, — и дальше, сквозь этот мир. Видел сквозь сотворенное — Творца. И давал Творцу творить внутри себя. Как, в каких формах происходит творчество, — не так уже важно. В слове, или в музыке, или в картине, — или только в сердце отпечатывается Непостижимое, — не все ли равно? Важно, что отпечатывается. Творчество не есть придумывание, изобретение чего-то нового, что возникает, имеет начало — и будет иметь конец. Творчество (истинное) есть проявление вечного; проявление, то есть делание тайного явным; то, что есть, нельзя придумать. Его можно только увидеть и проявить — попытаться показать всем, по возможности приблизить ко всем — ещё, ещё и ещё раз родить — привести в этот мир явлений то, что существует всегда в мире сущностей.

Есть тайна творчества. Творчество — это таинство. Живое — нерукотворное (хотя бы это и была сделанная руками статуя или храм). Если в них живая красота — тут тайна нерукотворная. В рукотворном и головном (сделанном только руками и придуманном головой) — никакой тайны. Все оборотно, все можно измерить, сосчитать, понять. Ничего большего, чем мое «Я». Все — от себя. Мое дело. Моя вещь.

Князь Мышкин и Кириллов имели одинаковые (или почти одинаковые) созерцания. Но князь предоставил Творцу свое сердце, предоставил Ему действовать внутри себя. Только это и есть творчество. Кириллов захотел действовать сам. Захотел дела.

Собственно, в его сердце свершилось таинство (как оно может не свершиться в том, кто так видел?..). И он стал хорош, прекрасен. Это ведь и Ставрогин знал. (Не мог не видеть. Наткнулся лбом.) Но вот поверить до конца своему Внутреннейшему, открывающемуся перед ним в потрясающие минуты, как открывается мир в грозу, освещенный молнией, поверить откровению он не смог. Почему? Что ему помешало? Ведь он поллюбил. Бога поллюбил. Христа поллюбил. Сердце его раздвоения не знало. Это не Ставрогин, расколотый между Мадонной и Содомом, не ангел церкви лаодикийской. Потому-то и был он так бесспорно хорош, так светел. Сердце Кириллова, как и сердце Мышкина, безгрешно. Оба сердца заполнила любовь к Христу ( а через Него и ко всем людям). Только князь свою любовь вынес, выдержал (не выдержала плоть; дух все вынес); а Кириллов любви своей не выдержал. Ибо стал её проверять.

«Слушай, — говорил он в исступлении очень нелюбимому им Петру Верховенскому. — Слушай: этот Человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого Человека — одно сумасшествие...».

И — «если законы природы не пожалели и этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то стало быть вся планета и есть ложь, и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы природы — ложь и дьяволов водевиль. Для чего жить, отвечай, если ты человек?»

Это рассуждение предвзвешивает слова: «Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мной в раю». Кончился день, оба померли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное».<sup>31</sup>

Кириллов хотел, чтобы сказанное оправдалось. Он проверял. Но то, что можно проверить — подтвердить или опровергнуть — все равно — это не то, что созерцается сердцем. То ничем не проверяется, не мерится. А все само меряет. Оно не от мира сего и сими глазами не видится. Все, что от мира сего, — не то, не про то.

Но ведь Кириллов испытал всю полноту Любви, Жизни, Света — жизнь вечную: «Жизнь есть, а смерти нет совсем». Как же он не понял, что это выше всех проверок и удостоверений?! Что Оно само создает понятия, разумения, новое виденье?

Велика инерция твари, противодействующей Творцу. Это страшная сила. Множество легенд и сказок посвящено такому мистическому неверию — испугу ограниченности перед Безграничным, испугу формы перед Таинственной светоносной волной.

Тайна, Чудо, Сам Бог не могут быть очевидными, умопостигаемыми. Они могут только просвечивать сквозь очевидность, размыв её дно, её границы. Надо уметь шагнуть вслед за Христом по воде, оставить всякую почву. В какой бы форме ни пришел призыв — не усомниться, не оглянуться, если позвала Любовь, если сделалась видимой сердцу невидимая глубина глубин...

Приходит на ум легенда о Лоэнгрине. Когда к опозоренной Эльзе, над которой висит угроза смертной казни, приплывает по морю на лебедь светоносный рыцарь, она поражена. На глазах у всех произошло чудо.

Рыцарь спасает девушку. Он любит её. Он становится её женихом. Он сам — чудо, высшее, прекраснейшее, что она видела в жизни. Он дает ей все. А от неё просит только одного: не спрашивать его имени. Пока... до срока... Довериться сердцу. Любви довериться.

Условие кажется ей ничтожным, смехотворно легким, а оказывается невыполнимым. Гадкая ведьма растревляет её тревогу: почему, почему он не открывается? Может быть, Эльзу ждет какой-то новый позор? Если все чисто, почему рыцарь скрывает имя? И это «почему» перевешивает все. Эльза не согласна на тайну. Ей легче потерять все, но понять.

Не то же ли самое в начале Священной истории? Зачем нужен был Еве запретный плод? Почему не могли первые сотворенные люди поверить своему Творцу, которого видели их сердца? («...если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха...» /Иоанн, 9:41./). Зачем надо было подтвердить внешними чувствами свое внутреннее знание, выйти изнутри наружу, из глубины, из безмерности — на мель? И пощупать её ногами? Потому что разум хочет все обозреть и измерить? И ему надо было вместить безграничность в границы? Не просто быть (в Боге), а иметь (знание)? (Во «Сне смешного человека»: «Знание законов счастья выше счастья, знание законов жизни выше жизни»).

Инерция твари. Спор твари с Творцом. Обладать, взять, уместить в границы вместо того, чтобы разрушить последнюю границу, отдать Ему себя...

Спор длится по сей день. Может быть, условие и не так легко, как показалось Эльзе сначала... Может быть, не так легко было Орфею — не оглянуться в ответ на мольбы Эвридики. Совершенно довериться Творцу — это иногда невыносимо тяжело, как Аврааму принести в жертву Исаака. Невыносимо тяжело поверить Невидимому, который дает и отнимает, который мучает невинных, терзает детей, который отдает на позорную казнь Чудо Свое, Сына Своего — совершеннейшее Свое создание... Как можно Ему довериться? Вопрос этот во внешнем пространстве ответа не имеет. Можно сказать только одно: довериться своему внутреннему, против всей очевидности, всей вескости внешнего — нелегко. И очень немногим это дается, даже увидевшим свет.

Князь Мышкин не мог не верить Тому, кого любил; а Кириллов не мог верить. В этом вся разница. Не хватало смирения. Сидеть и ждать, что со мной, что во мне сделают?! Нет, надо действовать самому. Что делать? Ничего? Нет, нет! Нужно дело. Н. Ф. Федоров придумал такое дело: собирать по атомам отцов и воскрешать их, Кириллов придумал другое дело. Суть одна: изобрести, доказать, придумать самому — а не дожидаться творческого толчка через тебя.

«Но позвольте, — возражает Кириллову Петр Степанович, — ну, а если Вы Бог? Если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь от того, что был прежний Бог?»

— Наконец-то ты понял! — вскричал Кириллов восторженно. — Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял! Понимаешь теперь, что все спасение для всех — всем доказать (выделено мной — З.М.) эту мысль. Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый,

должен убить себя сам непременно, иначе кто же не начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я ещё только Бог поневоле, и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие. Я обязан уверовать, что не верую».

Это, может быть, безумие. Но в то же время и неопровержимо стройная логика, которая должна была бы привести к смерти логики. «Я начну и кончу, и дверь открою», — продолжает засомневавшийся в своем Боге ангел (ибо Кириллов — обезумевший ангел). И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит всех физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие!»<sup>32</sup>

Своеволие. Сам от себя творю. В противоположность Христу, который Сам от Себя не творил ничего. Своеволие. — Свобода твари. Испуг перед бездной Творца и непостижимостью творчества, испуг перед Безграничным, недоверие к нему приводит к обожествлению ограниченного.

Обожествившая себя тварь есть дьявол. Но дьявол — реальный князь мира сего — начисто лишен добра и любви. Нельзя быть человекобогом — и иметь сердце, трепещущее любовью, играть с ребенком в мяч и отвечать на его улыбку такой же детской улыбкой; быть самому ребенком, любящим и открытым; иметь столько страха Божьего, чтобы скорее погибнуть, только бы не причинить боли другому... Если бы Кириллов вдумался во все это, он закричал бы, как Виргинский после убийства Шатова<sup>33</sup>: «Не то! Не то!» К несчастью, Кириллов, духовно гениальный человек, в то же время совершенно не талантлив, когда пытается воплотить увиденное. Талант — это умение воплощать семя света, запавшее в тебя, не придумывая ничего лишнего, без отсебятины, прислушиваясь к живому процессу развития духовного зародыша, от зачатия до рождения. А Кириллов, увидев потрясающие глубины, как бы зажмуривает глаза и начинает выдумывать, конструировать. Он не рождает нечто живое, от духа жизни, а создает идею-робота, идею-чудовище, пожирающее своего бесталанного творца. Человекобог, тваребог, — это либо дьявол (но дьяволом Кириллов не хочет стать), либо утопия (попытка заменить целостность жизни рациональной схемой). И начинается царство утопии, то есть царство безумия и безумцев, маниакально уверенных в своей правоте.

Кириллов — благороднейший из безумцев. Он видит высший пункт своеволия не в убийстве, а в самоубийстве. И конечно, ему не легко убить себя, почти так же трудно, как Раскольникову — Алену Ивановну и Лизавету. Но он, как и Раскольников, и Великий Инквизитор, убедил себя, что делает свое страшное дело во имя добра, во имя единственно возможного добра на Земле. Это предел, до которого доводят самоубийственные возможности логики; точка, на которой надо сказать: *absurdum est*<sup>34</sup>, — и вернуться к источникам жизни. Но, как все безумцы, Кириллов не замечает своего безумия, не видит, что давно уже шагает по призрачному царству утопии. Откуда берется вера в то, что в следующем же поколении люди переродятся физически? Только от желания, от внутренней потребности во внешнем чуде. Решительно так же, как вера Н. Ф. Федорова в возможность собрать по атомам и возродить давно

истлевших покойников.

Утопия — тот самый хрустальный дворец, которому хотел высунуть язык подпольный человек. Хрустальный дворец, другое имя которому — муравейник. Плоское изобретение человеческое, противостоящее бездонной красоте и потрясающей высоте божественного замысла. Теснота вместо простора. Дело вместо Творчества. Самоубийство вместо жизни вечной.

## ГЛАВА 8

### ЛОГИКА И СТРАХ БОЖИЙ

«Клянусь вам, господа, что слишком сознать — это болезнь, настоящая, полная болезнь»... Я крепко убежден, что не только много сознания, но даже и всякое сознание — болезнь».

Так говорит подпольный человек. Вторая его тирада не поддается обсуждению: если «всякое сознание болезнь», мы теряем почву для анализа: тогда всем нам место в больнице. Здесь перед нами гипербола, буквально нелепая, но важная, как способ подчеркнуть значение первого высказывания. «Слишком» — это всегда плохо. И слишком сознать — плохо. Остается понять, почему, в чем это слишком? Некоторый переизбыток разума, уже не опирающийся на бытие? Верченье ума на холостом ходу?

То, что бытие определяет сознание, — не ложь. Ложь — сводить бытие к материи. С этим ни один духовно чуткий человек не согласится. Чувство целостности мира говорит, что материя — только видимое следствие незримых процессов, ощутимая брэнная оболочка вечного и вечно непобедимого духа. Но так или иначе, сознанию предшествует и его определяет Бытие — Реальность — Сущее. Сознание не может быть независимым. Самодовлеющая, прямолинейная логика, логика мысли, не оглядывающейся на жизнь, подобна падшему ангелу, восставшему на своего Господина. Он мнит себя самодостаточным. Он — блистательное творение, не нуждающееся в собственном Творце... И в конечном итоге он отрывается от Источника Жизни.

Именно этот блистающий ангел и заслоняет, подменяет собой Бога для гордых умов из мира Достоевского. Ум, не подчинившийся никому и ничему, не признающий над собой Высшего — вот их идеал. Но такой ум, такое гипертрофированное сознание — действительно болезнь...

Ум — не самое Высшее. Ум — слуга. И он может быть бесконечно высок только тогда, когда служит; когда сознает себя частью Великого Целого и служит этому Целому. Если некая часть организма не подчинена общему центру — это действительно болезнь, и грозная. И тогда появляется искушение отрубить больной член, не надо его: «всякое сознание — болезнь». — Лучше «вселиться в семипудовую купчиху». Только бы не думать! Не думать, а жить, — как угодно низко, одною плотью («сила низости Карамазовской»).

И, однако, это хирургическое решение вопроса скорее в духе

Толстого, чем Достоевского. Достоевский понимает, что это не выход, а тупик. В глубине души брезжит свет истинного выхода: не погашенное, а преображенное сознание, сознание «сильно развитой личности», гармонической личности, в которой логика занимает подобающее ей второе место. Первое — принадлежит чувству Целого. Это чувство великой тайны, к которой ты причастен, и оно всегда сопровождается священным трепетом — страхом Божиим — страхом отрыва от Целого. Страх Божий есть чувство собственной малости, малости по отношению к тому, что ты не можешь вместить, но что вмещает тебя. Невмещенное в сознание, бесконечно переросшее его Неведомое Бытие... Страх Божий — это страх перед неведомой глубиной сердца, перед бездной живого Духа...

Сознание, исполненное страха Божьего, движется не по прямой, а по извилистой кривой, по таинственным лабиринтам жизни с неторопливостью древесных стволов и ветвей. Оно (сознание это) чувствует свою задачу как бы в тайной ощупи живого, в слиянии с ним. Только бы не потерять связь с Неведомым, не сознавать «слишком много».

В природе очень редки прямые линии: черта горизонта, отвес скалы или соснового ствола. Эти редкие прямые особенно значительны на фоне бесчисленных кривых. Они появляются как внезапная стрела, как перст Божий, направленный туда, где обрывается всякая линия, всякий предмет. И это соотношение линии (предмета) с Беспредметным (пустым) и дает поразительное чувство значительности, ощущение присутствия невидимого Духа. Линия обрывается, но жизнь длится. Перед глазами пустота, но она наполнена. Линия (частность) ведет в Целое, во Всецелость.

Эта тайна соотношения между предметом и пространством, между предметом и Всецелостью потрясает нас в линиях храмов, гор, скал. Нет ничего общего между такими органическими прямыми и нашими коробками, большими и малыми, наставленными безо всякого соотношения с пространством и друг с другом в современном городе.

...Мы так давно обогнали  
Медлящих проводников в вечность... и так одиноки  
Рядом друг с другом, друг друга не зная.  
Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки,  
Дивным меандром. Он краткость, прямая...

Это сказал Рильке в «Сонетах к Орфею» (ч.I, сонет №24. Перевод З.Миркиной). С ним перекликается Тагор: «Ум, весь состоящий из одной логики, подобен ножу, состоящему из одного лезвия: он ранит в кровь руку, берущую его».

Безоглядная логика, смертоносная логика... Дьявол — логик. Он не верит в цельность мира. Все у него дробится, рассыпается на части. Разве можно увидеть глазами, выделить вонне то, чему ты причастен? «Ты невидим, потому что Ты — зрачок моего глаза», — сказал Тагор о внутренней первопричине жизни. Её не постигнешь умом... Слишком много сознания — это, пожалуй,

глупость...

Испытать страх Божий, остановиться в страхе перед умонепостигаемым, но ощущаемым — вот начало премудрости. Увидеть собственную границу. «Я знаю только то, что я ничего не знаю»...

Герои-теоретики Достоевского забыли о страхе Божьем; больше того: они глядят на него свысока, с презрением. Раскольников уверен, что превосходит Соню умом. Её душу он чувствует, но в понимании жизни она кажется ему ничтожно слабой. Её «глупая» вера, конечно же, от её простоты и невежества. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — спрашивает он. — А тебе Бог за это что делает?» — «Все делает» — прошептала Соня.

Не похоже ли это Сонино «все» на Фаустов ответ Мефистофелю: «В твоём „ничто“ я мыслю все найти»?<sup>35</sup> На поверхности, на уровне фактов — ничего. Но сама Сониная душа, любовь, живущая в ней (это чувство всецелости в сердце, чувство причастности Всему), — какой Мефистофель это поймет? И сколько страданий нужно пройти Раскольникову, чтобы понять это?.. Когда поймет, — преобразится. Ум займет свое место, душа, наконец, станет целой, исцелится. А пока — душа и ум бьются друг с другом. Душа ещё не съедена идеей. Она жива. И она непомерно страдает. Соня видит эту душу живую и мучается вместе с ней. Соне есть что любить и на что надеяться. Раскольников — тяжело больной, но отнюдь не безнадежный пациент. Это не Ставрогин, над которым бессильно склонилась Даша.

И Раскольников, и Иван Карамазов — живые души. В них есть способность любить, способность страдать и сострадать, есть истинная доброта и чистота. Что же происходит с ними? Почему они делают (или считают долгом своим делать) то, чего душа их не может принять?

Они страдают за людей; не могут вынести страданий детей или даже животных (глаза засеченной лошади), но в то же время не верят в людей и презирают их. Им очевидно, что люди сделаны из разных пород глины, а вовсе не созданы все по единому высокому Образу. Человек мелок и жалок. И требовать от него слишком много, значит накладывать на него бремена неудобносимые... Слишком уважать людей, как Христос, это значит не жалеть их... Уважать можно только сверхчеловека. Вот он и должен повести за собой жалкое человеческое стадо, и при этом выставить как приманку Высокий Образ Божий, этот нежизненный идеал, высокий обман...

Долго-долго, целую ночь излагает эти идеи Великий инквизитор<sup>36</sup> молчащему Узнику своему. Почему же, за что же целует его Христос в его «бескровные девяностолетние уста»? За страдание. За то, что душа инквизитора сама сжигает себя на костре; за то, что душа эта, не веруя, не может отказаться от любви к Христу, как от самой себя.

Христос неправ. Это инквизитору очевидно. Но любить он может только Христа. Это тоже очевидно. Если люди мелки и жалки, то любить их нельзя, а только жалеть и презирать. Он может пожертвовать для них своей жизнью, но жизнь эта потеряла смысл, ибо смысл её — в любви. А любит он только Того, кого по всей логике надо сжечь.

Итак, надо сжигать любимого и жить с нелюбимыми, с презренными, «ничтожной властвуя землей». Но ведь коли Земля так ничтожна, то гораздо логичнее сеять зло («без наслаждения» или даже с наслаждением). А ведь инквизитор хочет сеять добро... Добро без любви?

Ну, может быть, и не совсем без любви. Любовь как будто есть — к бедным, грешным людям, любовь к человечеству, в достоинство которого он не верит и которое превращает в свое стадо. Великие утописты, начинавшие с такой любви, приводили к власти других, действовавших уже безо всякой любви, с одной жадной власти.

Так вот к чему пришел бедный, жалкий ум, поставивший себя на первое место. Что у героя ивановой поэмы, что у Раскольникова — та же мука самосожжения. И Соня видит эту извивающуюся в огне душу и сострадает ей так же, как Христос инквизитору. Сон о глазах засеченной лошади и — он сам же, сам — по кротким глазам Лизаветы! Да кто же может выдержать такую пытку?! Или каменная душа (вроде каторжника Орлова), которой ни человек, ни лошадь замученная никогда не приснятся; или полная невозможность убит. Но то и другое вместе!..

Почему Раскольников, отдающий последние деньги неизвестным сиротам, считает себя почти что обязанным убивать (и в том числе Лизавету, такую же сироту)? Почему любящий Христа никак не может в него поверить? Потому что он (в данном случае равно и Раскольников, и Иван) слишком верит в свою способность понимать, судить, беспрекословно верит логике; и уверенность в себе мешает поверить в Неведомый, но любимый Источник жизни.

Если бы немножко засомневаться в себе... Хотя чуть засомневаться в непогрешимой логике и замолчать и прислушаться... Если бы впустили в душу страх Божий, то перестали бы затягивать петлю на собственном горле. Но пока логика бестрепетна и непогрешима, дьявол, торжествует. Дьявол? Куда как гордо! Чёрт-приживальщик, чёрт-пошляк со своей лакейски-снисходительной, смердяковской улыбкой.

Если Христос неправ, то прав Смердяков. Тогда торжествует пошлость и ничего более. Гордому уму Бог казался выдумкой? Он Ему противопоставил сверхчеловека? Но сверхчеловек оказался тоже выдумкой, ловушкой. И гордиться решительно нечем. Если уж одна чистая логика, отвергающая немыслимую (и нелогичную) Высоту Образа, по которому создан человек, то прав Смердяков со своими лакейскими представлениями о мире. И Смердяков в конце концов и будет править обезбоженным миром.

Если люди достойны всего лишь сожаления и презрения, то и сам ты, презирающий их, достоин того же. Если же люди достойны религиозно-благоговейного отношения, то для человекобога, для сверхчеловека нет места.

Неожиданный вывод... Но ведь это то самое, во что упирается Кириллов. Ибо Кириллов презирать людей не способен и возвеличиваться над ними не может. Он чист, как ребенок. Но эти глаза без блеска, эта отрывистая речь, эти ночные бдения, один на один с идеей — с безжизненной прямой линией, ведущей никуда,

в тупик. Такой же безжизненной и бездуховной, как упершийся в облака небоскреб или заводская труба, коптящая небо. Кириллов кончает с собой, следуя логике своей идеи. Но не только поэтому. Он запутался. Желая быть последовательным, он упирается в чудовищные противоречия. Логика себя исчерпала. Идея его съела.

— Все хороши, — говорит Кириллов. — Только ещё не знают, что хороши. А когда узнают, не будут делать зла.

— И вы хороший? — спрашивает его Ставрогин.

— И я хорош...

И вот этот воистину хороший (очень хороший) человек, послушный идее, позволяет взвалить на себя вину за убийство Шатова (дорогого ему и действительно прекрасного человека). «Шатушка, милый он, родимый, голубчик мой», — говорит о нем Марья Тимофеевна. Таким образом Кириллов и вправду становится причастным к убийству (заранее ведь сказал, что все покроет и на себя возьмет). О, как ему тошно и как он запутался («Все хороши? Нет, все подлецы, все, все подлецы. И я подлец.»). С этим нельзя, не хочется, незачем жить. И выходит, что самоубийство его не только по идее, а ещё от невыносимого чувства тупика.

И так. И этак. Если все хороши, то и он хорош. А если все подлецы, то и он подлец.

Может быть, опять логика безумия? Нет. Это уже не безумие. Это — живое чувство его живой, задыхающейся души. Нельзя быть хорошим, презирая людей, не веря в их высокие возможности, не спрашивая с них, равно как и с себя самого высоты. Только чувство этой высоты, которую мы все можем и должны в конце концов занять, осмысляет жизнь. Или замысел о нашей Душе, как и вообще о жизни, высок и прекрасен и в жизни есть святость, или, не веря в Святую, опускаешься на скотский уровень.

Даже если никого не убил и ничего не украл, а только брезгливо отделился от другого, назвав его подлецом или гадом («один гад съест другую гадину», — сказал Иван об отце и брате<sup>37</sup>), ты отнял у себя самого чистый воздух, которым должна дышать душа. «Кто же скажет брату своему: безумный, подлежит геенне огненной» (Матфей, 5:22). Христос никого не посылает в геенну. Но тот, кто распаляет себя гневом и ненавистью, сам себя туда посылает. Ненависть и презрение (даже если они по очевидности справедливы) разъедают душу, в которой живут.

Можно видеть мерзость человеческую и отнюдь не мириться с ней. (Не мир, но меч!). И Христос, обличая фарисеев, говорил гневно: «Порождения ехиднины!» (Матфей, 23:33). Но Он говорил это с величайшей болью, охраняя общую, единую, в каждой душе живущую Святую. Он бичом изгонял торгующих из храма во имя общей высоты, во имя чистоты Единого храма, где все должны возвышаться духом. Он лучше всех знает о тайне сопричастности всех со всеми... И на крест пойдет за всех и каждого, в том числе за последнего грешника.

Все таинственно связаны со всеми. Все одного Бога имеем. Он — наше глубочайшее «Я», общее всем. И это тайна, равно принадлежащая всем, связующая всех.

«Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохорова, и как жаль, что вы этого не понимаете». Это «Шатов бормотал бессвязно, чадно и воссторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою, без воли его выливалось из души.

— Было двое и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает из рук человеческих, новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!

— Эх, напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны, — искренно и весело хохотала Арина Прохорова. — Этак всякая муха — тайна<sup>38</sup>.

Поразительно важный диалог. Может быть, здесь вся основа религиозного чувства. Именно «про то». И так просто. И здесь — водораздел. Он проходит именно и только между теми, кто чувствует и не чувствует Тайну.

Ну, конечно, и муха — тайна. Она — из той же самой Тайны, из таинственной животворящей Бездны. И человеку, и мухе равно принадлежит эта тайна. Простая муха таинственна и разумом непостижима. Так же, как я. Если муха не таинственна, то и я, человек, не таинственен, не бездонен, — не божественен. Моя одухотворенность и божественность одновременно одухотворяют и муху. Мы одухотворены по-разному, в разной степени. Но оба одухотворены, поскольку живые. И это — наше общее, единое. А уж с человеком... со всяким человеком мы сопряжены, впряжены в одного Бога. Хотим мы этого или не хотим, это так. Когда Раскольников говорит, что он убил всего только зловредную вошь, Соня восклицает: «Это человек-то вошь?!». И опять пропасть, ещё большая, чем между Шатовым и акушеркой. «Это человек-то вошь?!»<sup>39</sup>

И вот необъяснимое действие духовного закона: ведь Раскольников лучше старухи-процентщицы? Бесспорно лучше — до тех пор, пока не отрезал себя от неё, не поставил себя над её жизнью и смертью. Пока логика не провела убийственную прямую, не разрежала целое на части. А когда разрежала, то он сам — часть, а не целое, осколок, а не живой организм. Наше таинственное духовное уравнение в том и состоит, что сколько ты отнимаешь у другого, столько же, если не больше, отнимается и у тебя самого. А сколько дашь, столько тебе прибавится (и более того).

Логика здесь ничего не доказывает. Хорошо, если страх Божий вовремя осадит её разбежавшихся коней... Старуха-процентщица плоха? Да, может быть. Но это не дает никакого права тебе распоряжаться её жизнью. Кто поставил тебя судьей над ней? Не ты её создал. Она таинственна и неприкосновенна. Она оскорбила общую святыню? Тем более тебе, чувствующему это, надлежит хранить эту святыню, а не оскорблять её стократ, становясь убийцей. Или общая Святыня есть, тогда не становись убийцей; или её нет, но тогда не обманывай себя, что действуюешь во имя добра и человеколюбия. Цель не оправдывает средства...

Если ты присваиваешь себе права судьи, если выделяешь себя и ставишь над всеми, ты сам извергаешь себя из Общей Тайны, из Таинственного Целого.

Гордое высокомерие (даже того, кому есть чем гордиться) отрезает от других, от общей всем глубины, обрекает душу на оскудение, в конце концов — на гибель. Обозвать человека вошью — это слепая гордыня, смертный грех!

А полячишкой? А жидком?

Это человек-то полячишка? Это человек-то — жидок?! Так хочется воскликнуть вместе с Соней, обращаясь уже не к Родиону Романовичу, а к самому Федору Михайловичу. Господь с вами... Да Вы ли это? Вы ведь не такой... Помните, как Мышкин сказал Настасье Филипповне: «Вам-то как не стыдно... Ведь Вы не такая»...<sup>40</sup>

Мог ли когда-нибудь князь Мышкин (эта внутренняя святость Достоевского) назвать человека «жидком» и «полячишкой»? Он, обрацавшийся с лакеем, как с равным себе, он, не давший сбить себя с уважительного тона по отношению к пятнадцатилетнему мальчику. И когда не в меру разгоряченная генеральша Епанчина вскрикивает: «Это о мальчике-то — Николай Ардалонович?!» — он невозмутимо и твердо стоит на своем: «Николай Ардалонович». Три раза повторяет это князь, заставляя Елизавету Прокофьевну отступить. Унизить любого мальчишку — Бога в нем унизить. Обидеть его — Бога в нем обидеть...

Так как же это все сочетается в Достоевском? Как это может уживаться вместе? Где-то здесь кончается страх Божий и начинаются страсти и пристрастия, и готовая к их услугам Идея...

Нет, не так пуста христианская формула: «я — последний грешник», «я хуже всех». С точки зрения здравого смысла — нелепость. Неужели Тихон Задонский хуже Николая Ставрогина? Но Тихон Задонский просто не живет в том духовном пространстве, где люди сравниваются, соизмеряются, превозносятся один перед другим. Для такого, как Тихон, все эти соизмерения — безумие. И лучшие, и худшие — все безумны... Все, кто не видит своей сопряженности со всеми, своей неотделимости... Сам Христос, если бы противопоставил себя всем людям, отделился бы, выделился, перестал бы в тот же миг быть Христом. И Федор Михайлович, хоть о ком-то говорящий с презрением и уничтожением, предает в себе князя Мышкина и большего, чем князь...

«Я последний грешник» — говорит о себе человек с предельным (беспредельным) страхом Божиим, знающий (о, как знающий!) как трудно не обидеть никого, никогда; и знающий, что все претензии нашего «я» на отдельность — бред. С великой болью и любовью глядит он на всех, пронзенный каждым взглядом и каждым словом, и не дает уже никому никогда сбить себя с тона... И христианское «я хуже всех» есть некий камертон, по которому должны были бы настраиваться души.

## ГЛАВА 9

### СТРАДАЮЩИЙ ДЕМОН

Лермонтовский Демон. Этот прекрасный страдалец. Столь же великий, сколь страдающий.

Что все страдание земное  
Перед минутою одною...<sup>41</sup>

Действительно, «что жизни мелочные сны», что такое все наши беды?! Вот кто страдает не минуту, а Вечность... Это слово завораживало, как видение снежной горы, освещенной луной. Как мелок перед этим видением человеческого поселок, примостившийся у подножья. Вот кого можно любить. (Вечность Красоты!). Вот кому нужно сострадать (Вечность страдания!).

Недаром бедная Тамара затрепетала, как огонек свечи. «Святым захочет ли молиться, а сердцем молится ему»... «Сиял он тихо, как звезда, манил и звал он, но куда?»

И почему в финале поэмы таинственный гений, вечный страдалец стал вдруг так однозначно ужасен? Чем это подготовлено? Откуда это:

Увы, злой дух торжествовал!<sup>42</sup>

И дальше:

Каким смотрел он злобным взглядом,  
Как полон был смертельным ядом  
Вражды, не знающей конца,  
И веяло могильным хладом  
От неподвижного лица...<sup>43</sup>

Ангел отгоняет его, как злую муху:

Исчезни, мрачный дух сомненья!..<sup>44</sup>

Добро торжествует. Однако, что это значит? Понятия добра и зла не раскрыты, не прояснены. Они давно смещены, запутаны. Есть только различие символов: ангел – это хорошо, демон – это плохо. Демон побежден, но что с того? Разве разрушены его чары? Разве перестал он быть вечным страдальцем? Ведь след в душе, прочерченный им, нестираем...

Нет никакого выхода из духовного конфликта. Кажется, что поэт сам испугался своей дерзновенности и наскоро свел концы с концами... А в душе так и остался страдающим богоборцем, с печатью неземного величия на челе. В большинстве его поэм, и стихов, и прозы он именно таков и есть. И только изредка вдруг проглянет что-то совсем-совсем другое: никакого величия, никакого демонизма; что-то детски простое, пронзительно чистое и светлое: «С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко...».<sup>45</sup> И особенно это, потрясающее по своей глубине и подлинности религиозного чувства:

Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь блестит.  
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.  
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно.  
Спит земля в сиянье голубом.  
Что же мне так больно и так трудно?  
Жду ль чего, жалею ли о чем?<sup>46</sup>

Никакого противостояния, никакого величия собственного. Только Божье величие. Оно огромно и непостижимо. «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...». Сколько встает за этими словами — весь вселенский простор и вся безмерность души, так жаждущей причастия Ему! Так любящей Его! Какое там противопоставление! Я так мал, так невероятно мал — крупинка... Вот и звезды — крупинки, разбросанные по безграничности. Но ведь каждая звезда с звездой говорит... Все чувствуют друг друга, все согласны, собраны в непостижимое единство, и только я, я один... «Что же мне так больно и так трудно?» Просьба, жалоба, такая тихая и смиренная, детская жалоба... Почти то же, что чувствовал больной князь Мышкин в Швейцарии, среди всей величественной красоты и гармонии, окружающей его.

И вот это-то именно чувство стоит на самой грани тайны и переходит в великую неизреченную радость причастности Целому. Не об этом ли говорила и Хромоножка, когда пересказывала врезавшиеся ей в душу слова странницы?.. «Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими землю на пол-аршина в глубину, то тот час же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой горести твоей больше не будет»<sup>47</sup>.

Так вот оно в чем дело... Напоить слезами своими землю на пол-аршина в глубину... Раскрыть, излить и смиренно выплакать душу... Разве не чувствовал и Лермонтов в глубине души, что гордый бунт его никуда не ведет, что как ни бушуешь и ни бунтуешь, а жить этим нельзя. И тихонько, скрываясь ото всех в уединении своем, плачет и не стыдится своих слез чистая детская душа... Она устала, эта душа. Она хочет забыться и заснуть. «Но не тем холодным сном могилы» — нет, нет! Она любит жизнь. Она хочет все чувствовать и быть со всем и всеми единой. О, только бы единой!.. Только бы не отделиться! Слиться совсем, совершенно... «У них не было храмов и не было веры, но было чувство такого полного единения с Целым Вселенной»,<sup>48</sup> — скажет «смешной человек» Достоевского о людях-ангелах, которых увидел сердцем в своем паразитическом сне.

Вот когда появляется та полнота души, в которой не то чтобы приходят ответы на вопросы, а снимаются все вопросы. Душа вырастает и перерастает свои вопросы. И уже нет разделения на Божию пустыню и меня. Мы — одно. Божия Бесконечность и есть моя бесконечность. Величина моя, моя собственная, здесь не имеет ни малейшего значения. Целая звезда, и Луна, и Солнце перед Богом — перед Бесконечностью этой — такая же крупинка, как и я, человек! И я — как они. И мое сердце говорит с каждой искринкой света, как звезда с звездой... Вот это и есть рай...

Вот они — другие чары, белые, чистые, в противоположность черным, демоническим. Красота, которая не губит, а спасает душу...

Демон — враг Богу, но Бог — не враг демону. Демон сам себя извергает из Целого. Но Целое открыто ему и всегда, всегда готово принять блудного сына в свое лоно. Вход в рай открыт всякому, кто только сбросит на пороге, как грязную обувь, грех —

свою обособленность, свое, отделенное от мира, «я». Велико ли оно, как Солнце, это «я» — или мало, как мушка, — перед Богом они равны, равно ничтожны.

Сбросить отдельность, причаститься... Так просто! И ничего нет труднее на свете. Самая великая тварь, светоносный ангел взял и отделился когда-то, и вот ведь целую вечность блуждает он «в пустыне мира без приюта» и не хочет, не хочет войти в открытые врата. Все, что угодно, только не это! И как он прельщает души своей силой, своей красотой, своим страданием!.. Как чарует... Как свободно летает по миру, проникает в каждое окно, во множество книг и душ... И нельзя сказать, чтобы великая русская литература не боролась с его чарами. Боролась. Но, может быть, только Достоевский затмил демонический блеск другим, чистым светом, собранным в душе Мышкина, Сони, Хромоножки, Алеши. Зло нельзя победить огнем и мечом. Зло можно только погасить так, как солнце гасит звезды. Пока зло чарует людей, с ним ничего не поделаешь. Его победит только тот, кто разрушит чары.

Демон — Божий первенец, самое прекрасное творение. Когда и почему он отпал от Творца своего? Может быть, начало домирной мистерии (которая продолжается по сей день) именно в этом невинном слове: самое. Самый прекрасный. Прекраснее других (самее). Взглянул на себя, взглянул на других. Сравнил. Да ведь и как не сравнить? Он так сильно чувствует красоту, он так любит! А рядом такое несоответствие! Такие мелкие души!..

У Врубеля есть два Демона: Демон сидящий и демон поверженный. Сидящий Демон полон огромного обаяния. Он бесконечно поэтичен. Его тоска — высокая тоска. И вовсе еще не отторгнут он от мира Божьего, а только от людей, которые не разделяют его души, не платят любовью за любовь. Это поэт, не понятый миром. Другое дело — Демон поверженный. Он воистину повержен. В нем еще есть величие. Но какое мрачное, наводящее ужас!.. Он пуст от жизни и любви. И оттого, что все еще живет, — наводит ужас, как живой мертвец. Хотя в нем все еще есть страдание. Но вместе — такая злость, такая мертвая злость... А ведь это одна и та же душа, проделавшая путь от «люблю сильнее всех» до полного отсутствия любви...

Любовь есть бытие истинное, имеющее жизнь в себе самой, внутри. Совершенная Любовь не имеет ничего внешнего. В сердце вмещается весь мир. Ничего не извергается из сердца. Оно причастно всему. И все причастно ему. Отдельности нет. Но как только душа сравнила себя с кем-то другим, как только отметила свое превосходство, появилось внешнее пространство и начало вытягивать душу из себя самой, затягивать вовне. Душа начинает присваивать себе права большие, чем у других (права лучшего: справедливости), начинает выравнивать и перекраивать мир, созданный Богом, и вдруг незаметным образом приходит к неожиданному финалу: «лучшесть», ради которой прощалось и позволялось столь многое, исчезает. Чувство красоты и, наконец, сама любовь, неразделенная миром, мстившая миру за то, что не разделена, — сама любовь эта исчезает, уступая место злобе... А

значит, бытие истинное уступило бытию кажущемуся. Ибо в злобе и мести нет бытия. Есть только его оболочка.

Многие романтические герои начинают с того, что они много лучше мира, а кончают тем, что становятся много хуже. И Алеко, убивающий Земфиру и ее любовника, вряд ли принесет в мир свободу, которой жаждет («Ты для себя лишь хочешь воли») <sup>49</sup>. А лермонтовский Арбенин, убивающий свою Нину? <sup>50</sup>

И все-таки и Алеко, и Арбенин еще любили. Ужасно, эгоистично, любовью-обладанием, но все-таки какая-то сильная страсть, какая-то искра жизни... Постепенно и она гаснет. Тот, кто там, в пустоте, не любит совсем, нисколько, никого — и все-таки живет, живет... Вот что такое ад... Так что там, — никаких надежд? «Входящие, оставьте упованье»?.. Нет, это не совсем так. Никаких надежд только для того, кто не хочет преобразиться, кто упорствует в желании быть таким, каким сам сделал себя. А возможность преобразиться остается всегда. И эта возможность, эта последняя надежда — в страдании. Ты уже не можешь любить, но если ты страдаешь от этого, еще не потеряна надежда на воскресение. Если душа сумеет выдержать страдание, — если пройдет свой «квадрильон» <sup>51</sup>, может наступить новое рождение; может произойти чудо.

Но демонические натуры обычно и в страдании остаются демоническими, то есть не несут свое страдание как тяжкий дар, как доверенную ношу, а используют его, как последнюю попытку ощутить наслаждение. Неспособная любить душа, окруженная ореолом мученичества, привлекает к себе, влюбляет в себя другие души и питается этой влюбленностью. Такая демоническая натура сражается с любовью на ее же поле. Демона любят. И как любят! До забвения всего мира, до забвения собственной души. Когда Тамара, которая уже не в силах сопротивляться, уже завоеванная, околдованная им, чуть слышно шепчет: «А наказанье? Муки ада?» — Демон отвечает: «Ну, что ж, ты будешь там со мной».

Демон ли, Печорин или Ставрогин — все они окружены женщинами, готовыми идти за ними на край света, и все на вопрос Тамары, Мери, Даши отвечают или могли бы ответить точно так же. Исчерпывающий ответ. Последний всплеск сомнения гаснет. И только Хромоножка на предложение принца Гарри жить с ним в угрюмом горном ущелье всю жизнь, говорит насмешливо и брезгливо: «Ни за что не поеду! — Даже и со мной? — А вы что такое, чтобы я с вами ехала? Сорок лет сряду с ним на горе сиди... Ишь, подъехал! И какие, право люди нынче терпеливые нашлись. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь!» <sup>52</sup>

Она любила в нем истинно прекрасное, а он — самозванец. Как только увидела, так и разлетелись чары. Эта полоумная (с обычной человеческой точки зрения) наделена высшим умом и даром различения духов. Она может спутать факты, даже подчас смешать лица (обличья), но души она не смешает никогда. Она хорошо знает, что Шатушка — родной, голубчик, что Даша — ангел (с первого взгляда видит), что ее Лебядкин — лакей; и всех господ и дам в ставрогинской гостиной, считавших ее за идиотку, она насквозь увидела и пожалела: «Посмотрела я на вас всех тогда: все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся

и посмеяться от души не умеют. Столько богатства и так мало веселья — гнусно мне все это».<sup>53</sup> Во внешнем — неважном — Марья Тимофеевна легко спутает, но во внутреннем!

Так как же в Ставрогине-то запуталась? Не запуталась. Он сам в себе запутался. Не сразу же стал он огненно-черным. Сперва в нем было только одно: пламя, которое постепенно остывало. Не так скор путь от восторженного мальчика, плакавшего на груди своего учителя, до поверженного демона. И на пути этом созерцались многие возможности. Была среди них и возможность любви к Христу. И Ставрогин примеривал ее к своей душе: подойдет ли? Наверно, в один из таких моментов увидела его впервые Марья Тимофеевна и сердцем своим поняла, что именно это и идет к его душе больше всего на свете. Что в это время он примерял одежды князя тьмы, она еще не знала. А если бы знала? Кто знает, что было бы, если бы знала... Но она не знала, а он хотел ухватиться за нее, как за последнюю надежду на светлый исход.

Думаю, что это ближе всего к истине, но... Боже мой, ведь он женился на Хромоножке, может быть, уже после Матрешки!.. Что же в нем оставалось? Свет погасшей звезды?..

А, может быть, тот сон, который приснился ему и положил конец его «всемогуществу», посетил душу не без участия Марьи Тимофеевны? Где-то в неведомом им самим пространстве духовном встретились эти души. Открывалась великая возможность. Открывалась, но не осуществилась. Душа его слишком далеко зашла, заигралась всеми своими возможностями. И... он сам еще не знает того, что уже видит Хромоножка, когда по лицу ее пробежала судорога и она «подняла, сотрясая их, руки, и вдруг заплакала точь в точь, как испугавшийся ребенок; еще мгновение — и она бы закричала».

Та любовь, которая чуть теплилась в сердце «ангела церкви лаодикийской», погасла. Сердце остыло. И бедная женщина увидела живого мертвеца... Живого и агрессивного мертвеца, сеющего смерть. Вампира, приходящего, чтобы пить души; паука, который сидит в углу и сосет жизни. Вот и закричала она... А когда опомнилась, взяла себя в руки, гордо выпрямилась и прогнала самозванца.

Самозванец пришел из своей могилы к живым душам, чтобы пить их, вместо того, чтобы вынести свою смерть, вынести свое страдание, отталкиваясь от своего греха со всей силой, вырываясь из него. Другого выхода, кроме покаяния, нет. Страдание дается самым великим грешникам, как луковка — той злоющей старухе из грушенькиной легенды. (Один только раз сделала старуха добро — подала нищему луковку. И вот эту самую луковку подает ей ангел, чтобы ухватилась она за нее, когда он будет тянуть ее вверх из преисподней. И ведь вытягивала луковка... до тех пор, пока старуха не стала отталкивать тех грешников, что уцепились уже за нее саму. «Мне — а не вам луковку ангел дал». И все. Оборвалась луковка<sup>54</sup>.)

Последняя луковка, или соломинка... И она вытянет, если со всем смирением и благодарностью принять ее... И луковки хватит. В этом — тайна.

Если перенести страдание, ни на миг не пожалев себя, не оглянувшись на себя, а только отталкиваясь от себя; если вынести страдание, как заслуженное сполна, и сколько бы его ни было, считать все еще недостаточным, если так — вытянет луковица, спасешься. Но одна капля самосожаления, самоснисхождения, — и луковица оборвется. Жалеть себя, отталкивать другого — одно и то же. Отталкивать можно только себя. Но именно отталкивать, а не убивать. Жить, постепенно выталкивая из себя грех. Самоубийство, подобное ставрогинскому, есть несогласие на духовный труд, есть протест против Бога, неверие и отчаяние — в конечном итоге отталкивание Самого Бога.

Я не верю в однозначность самоубийств, в то, что всякое самоубийство есть самый страшный грех. Между самоубийством Матрешы и Кроткой, с одной стороны, и Ставрогина, с другой — непреодолимая пропасть. Но ставрогинское самоубийство есть именно отталкивание последнего Божьего дара, последней милости, которая дается грешнику.

Навстречу страдающему грешнику идет страдающий Бог. (Сам Христос испытал величайшее страдание — богооставленность. «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Марк, 15:34). Непостижимо. Но так).

Страдание демона заслуженно. Страдание Бога — следствие грехов мира. Когда демон отделяется от Бога, Бог тоже бесконечно страдает; грехи мира Его рвут, мучат, распинают. Распятие Христа — раскрытие тайны Бога, тайны ежечасного распятия.

В одной хасидской легенде говорится о тридцати шести праведниках, на которых мир стоит. Они совершенно незаметны. Никто не знает, и меньше всего — они сами, что на них держится мир. Они самые забитые, самые угнетенные, самые обездоленные, самые обиженные миром души. И несут они все это безропотно. Но вот когда такой праведник умирает, Бог берет в свою жаркую ладонь эту промерзшую в мире душу, и если в ладони Божьей целую минуту не оттаивает эта душа, то Бог плачет...

Бог плачет. Плачет в нас. Это те самые слезы, которыми надо напитать землю. И страдание святых и их безропотные слезы — то единственное, что может преобразить боль в радость, спасти мир.

Страдание Бога спасает душу. Страдание нераскаянного демона чарует и губит душу. Сострадание Богу возрождает даже угасшую душу грешника. Сострадание демону убивает живую душу праведника.

А как же Исаак Сирий молился за бесов? Это — совсем другое дело. Он молился об их спасении, о преображении. Не о том, чтобы они избежали страдания, а о том, чтобы вынесли его.

Самый Чистый на свете взял крест и понес его. И вынес. И тем самым показал, что крест можно вынести. Ему Самому не надо было спасать свою душу. — Спасена. Высветлена. Сам Свет. Но Он взял крест, сострадая тем, кому надо было его вынести. Кому другого пути не было. Вот так сострадать можно даже демону, но только так. Не иначе.

Демон давно летает над русскими просторами и пристально глядьвается в русские души. Точно ищет в них очередного пристанища. Он мерцает перед духовным взором Лермонтова, зовет и чарует его, как в поэме чарует Тамару. Как она не погибла — непонятно, а все-таки не погибла; и так же душа Лермонтова... «Она страдала и любила, и рай открылся для любви».<sup>55</sup>

Этот же черный дух вперяет свой взгляд в Гоголя, внушая ему дикий мистический ужас. И даже гармоничный и воистину светлый наш гений — Пушкин чувствует вокруг себя хорювод бесов. Это не минутное настроение заплутавшегося в поле путника. Давно

Какой-то злобный гений  
 Стал тайно навещать меня.  
 Печальны были наши встречи.  
 Его улыбка, чудный взгляд,  
 Его язвительные речи  
 Вливали в душу хладный яд...<sup>56</sup>

Стоял ли за этим пушкинским демоном реальный Раевский или кто другой, — не это важно. Важно, что за ним была духовная реальность. Что душа с ним встречалась... И плодом этой встречи был герой своего времени — первый из этих москвичей в гарольдовом плаще, из этих чужеземцев с Онеги или Печоры. Они зовут прекрасное мечтою, не верят любви и свободе и ничего во всей природе не хотят благословить. И они завораживают самых глубоких, самых поэтичных женщин. Да и не только женщин. И женщины, и мужчины ждот от них чего-то особого, чувствуют в них избранность, предназначенность к подвигу. Какому?

Властитель дум, властитель душ, кто же он? Это прежде всего человек недюжинной силы. Я не говорю о тургеневских, измельчавших характерах. Не от них пошел герой Достоевского. Но Онегин и Печорин — сильные люди. Их сила еще не нашла себе применения, но она есть. Есть независимость духа, присущая лишь властителю, князю... Вот только непонятно еще, светлomu ли, или темному князю... Непонятно это ни тем, кто предан ему душой и телом, готов идти за ним на край света, ни, может быть, ему самому. Герой нашего времени — лишний человек, не вписавшийся или, скорее, как бы выписавшийся, выбывший из общества, противопоставивший себя среде, почве, из которой вырос. Лишний человек — сам по себе. И ему самому и всем вокруг кажется, что он на голову выше прочих. Вот только бы найти задачу по своим силам!.. Вот только найти «веру или Бога» (как говорит Порфирий Петрович Раскольникову), ради которых хоть кишки вырезай! Но где найти веру или Бога? Бог потерян.

Вот он, главный нерв века, его больная точка («Бог умер», — скажет вскоре Ницше). Бог существует лишь как внешняя, мертвая форма. Люди еще не нашли новых живых форм духа и продолжают держаться за старые. Но чувство мертвости, скуки, пустоты жизни разлито в воздухе.

Герой времени — тот, кто осмеливается назвать мертвое мертвым. На фоне мелких, трусливых душ, оглядывающихся на других и обманывающих самих себя, он крупен. Он отваживается быть самим собой. Что не так-то мало. Он не хочет казаться тем, чего нет. И... и только.

Предоставляя судить другим, много это или мало.

Ни мало, ни много — то, что есть.

Разумеется, это герой русского образованного слоя. А что в Европе? В Европе — другое. Романтический демон там уже отлетал. Да, может быть, и не так сильно захватил умы и сердца. Было, конечно, было, но... побаловались и хватит. Надо возвращаться на землю и устраиваться на ней крепче, практичнее, чтобы никаким демонам не повадно было... Бог умер? Ну, умер, так умер. И без него проживем. Как? Да потихоньку, полегоньку, с кофе и сдобными булочками, с борьбой за права, с надежными стенами, с игорными и публичными домами. На земле так на земле.

Я не ручаюсь за то, что именно так было в Европе. Но Достоевскому увиделось все примерно так. Бог потерян образованными людьми повсюду, но русский человек с этим не мирится. А в Европе все отлично примирились. И какими же карликами показались ему эти выродившиеся Дон Карлосы! «Город Гаммельн»<sup>57</sup> отлично обходится без души, с одними телами. Здесь — ни Бога, ни черта, ни воздуха. Ни высоты, ни глубины. Дупно. Скучно.

Русский герой нашего времени — какой угодно, но не скучный. Он вовсе не кончен духовно. Он только начинается. Примирился с духотой, с плоскостью бытия он не может...

Молодой Достоевский был ближе к Ленскому, чем к Онегину. Он еще не очень хорошо ориентировался в действительности. Она была опутана романтической дымкой. Великая трагедия века еще не была осознана. То, что идеал надо искать заново, то, что Бог потерян людьми нового времени, — еще не стало для него очевидностью. Пелена с глаз спадает перед лицом смерти, перед апокалиптическим видением. Вот когда душа его в ужасе поняла, что жила вдали от Бога. И она рванулась к Богу и впервые нашла Бога. Потом — впечатления каторги, бесконечно страшные. Никакая романтика не могла бы жить рядом с ними. Он увидел, что человек пал очень низко. И если не поднимется, не выживет. А без Бога человеку не подняться. Вот что стало для Достоевского ясным и бесспорным.

Русские прогрессисты, наивно ждавшие гармонии от людей, потерявших старого Бога и не нашедших нового, от людей, не преображенных, необоженных, представились ему слепцами на краю пропасти. Они не предвидят того, что может произойти с Россией, как Юлия Михайловна Лембке — последствий «праздника».<sup>58</sup> Пожар в Заречном, вакханалия убийств и самоубийств, — вот куда летит русская тройка. Если ее не остановить, не удержать коней, — то ли еще будет!

Достоевской после каторги стал другим не потому, что был сломлен. Он имел мужество переменить убеждения, потому что увидел бесов, вошедших в тело России, и почувствовал свою задачу: остановить их натиск. Роман «Бесы» показался современникам карикатурой, в нем действительно много карикатур; но действительность оказалась еще карикатурней.

Предводитель бесов, заморочивший голову даже «великому писателю» Кармазинову, Петр Верховенский, покоряющий, гипнотизирующий умы, выведен таким отвратительным и ничтожным, что напоминает пасквиль. Но если взглянуть из нашего далека, то, пожалуй мы и похлеще видели...

Федору Михайловичу надо было во что бы то ни стало разоблачить героев нашего, последнего времени, и он это блистательно делает. Однако Верховенский представляет еще не всю бесовщину. Есть и те, кто под ним,

и тот, кто над ним. Те, кто под ним — эти суеящиеся бесенята уж так мелки, что пожалуй, хоть в лупу разглядывай. Только, может, в Эркеле — намек на трагическую судьбу чистого душой русского революционера. Это один из «малых сих», соблазненных, вовлеченных, погубленных...

Ну, а кто над Петром Степановичем? В самом деле, есть ведь над этим главным и поглавнее. И без этого главнейшего тот первый — ничто, пустой мечтатель, Колумб без Америки, как говорит он сам о себе. Кто же этот главнейший?

Разумеется, все тот же страдающий демон, Николай Ставрогин. Гниение началось с головы. Это в ней первой завелись черви разрушительных идей. А голова эта — что угодно, но уж отнюдь не мелка. Это крупное явление. Очень крупное. Это тот, кто смеет быть наглым с Самим Богом, кто просит Господа подвинуться и надеется устроиться в мире без Него. Он, демон этот, достаточно умен, чтобы понимать, что без Царя в мироздании нельзя, как и без царя в голове. Так вот, — «подвинься-ка, Царь небесный, я сяду на Твое место. Я ведь догадался, что Тебя нет совсем. Ну, а я-то — есть...».

За всей бесовской мелочью и бесами покрупней стоит великое отрицание, противожизненный атеизм, черные дыры небытия, проступающие, как глаза страдающего демона... В кого они вперили свой взгляд, тому уже не вернуться, тот вызван на поединок. Либо он переглядит демона и доглядится сквозь эти дыры до непреходящего Бытия, либо будет поглощен черной бездной, выпит, — без остатка!

Вызов на такой поединок — знак великого уважения. Вызов этот посылается, может быть, только великим душам. Но что такое битва всех (почти всех) святых с бесами? Обычно об этом мы знаем глухо. Это где-то в прошлом. Святой, житие которого осталось миру, — уже победитель. В его сердце горит немеркнущий свет и нам светит. Но через что прошли святые, прежде чем добыли свой свет, об этом чаще всего жития умалчивают, не вынести даже рассказа об этом простым смертным. И Сам Христос — не исключение. Не так просты были Его искушения в пустыне... Ну, конечно, Христос победил духа тьмы полностью и смертию смерть поправил. И святые, раз уж они святые — победители тьмы. Но они знали великую скорбь и великие, непредставимо страшные, часы, а подчас дни и годы богооставленности.

В пространстве Достоевского это прежде всего князь Мышкин, все тот же больной юноша со своей немислимой тоской душевной отъединенности от всего, всего... Всем все было дано, каждую мушку Бог как бы в ладони держал, и все-то ей было просто, а он, он один, изверженный — в пустыне. Нет, не физической — в метафизической, духовной пустыне, от веянья которой души содрогаются так же, как Мефистофель от царства Матерей...

И все-таки князь победил. Даже потом, вновь задушенный всем ужасом этого мира, все равно — он уже навсегда победитель — растерзан, но не затемнен. Его победа произошла еще где-то за страницами романа (как иногда люди уже рождаются почти светящимися, со следами битвы, произошедшей где-то в предсуществованиях).

Другие великие души бьются на страницах романов. И весь рассказ о них — ход этой битвы. Битва иногда кончается победой (случай Раскольникова), иногда еще вовсе не кончается, но есть ясное чувство (пророческое знание), что не может кончиться поражением (случай Ивана Карамазова); иногда исход битвы не ясен (так, видимо, с Версиловым<sup>59</sup>).

И только в случае Ставрогина битва великой души с черными демонами кончается полным поражением, души.

Ставрогин выпит... без остатка. И если на первых же страницах романа Зосима предрекает Ивану Карамазову невозможность поражения<sup>60</sup>, то Тихон Задонский с великой тоской, с нечеловеческим мучением чувствует уже как бы свершившееся в духовном мире поражение Николая Всеволодовича<sup>61</sup>. Выход все еще есть! Но эта возможность — как возможность чуда. Чуда не происходит. Роман «Бесы» (этот самый мрачный из романов Достоевского) — пророчество о том, что будет, если победит демон.

## ГЛАВА 11

### РЕАЛЬНОСТЬ И ФАКТЫ

Сам Достоевский — та великая душа, которая вызвана на бой страшным демоном небытия. Этот бой и есть дело его жизни. Он увидел дьявола лицом к лицу. И он бьется с ним.

В глубине души весь свет, собранный им, стянутый в некий узел, схватывается с тьмой, как Святой Георгий со змием. Истинный свет, который знает душа, вспыхивает непостижимо ярко, и демон в этом освещении теряет свой блеск, свою неотразимость. Становится видно его безобразия. Он смешон. И несмотря на весь ужас: «Не боюсь твоего ножа!» (слова Хромоножки).

Это так. Более того: это самое главное в Достоевском. И за это — вечная благодарность, вечная любовь Федору Михайловичу! Вечная любовь, которую никто, даже он сам не сможет вытравить из моей души.

Но как он пытается вытравить эту любовь, когда выходит из своей великой глубины на мель! На нашей грешной земле, вдали от увиденной сердцем планеты, в житейском море он борется вовсе не с князем тьмы, а с мелким суетливым бесом. Поле битвы из души Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова, наконец — Ставрогина перемещается на территории, оккупированные Петром Верховенским, — из метафизической бездны на газетную полосу, в журнальную статейку не слишком разборчивого борзописца.

Петр Верховенский не только чужд бездне, он никакой глубины не имеет: потому и пытается паразитировать на глубине Ставрогина...

Ставрогин погиб. Не раскаялся, не нашел Бога, не просветлел, а повесился. Но не сыграл он роли, уготованной ему Петром Степановичем; ускользнул от своего фанатичного Колумба. Не открылась Америка! Тут бы, кажется, и конец всему делу; тут бы и лопнуть верховоду бесов, как мыльному пузырю... И ведь на самом деле все раскрыто, планы Петра Степановича разрушены; «пятерка» сама себя выдала; самоубийство Кириллова ничего не прикрыло и не спасло. Казалось бы все? Нет, не все.

Петр Степанович преспокойно уезжает за границу — и, погодите, он не умер; он еще натворит дел. Ведь семя брошено, каша заварена. Все сдвинулось со своих мест. «Россия, Россия, куда несешься ты?»<sup>62</sup> Но ведь уже не остановишь, пожалуй... (И вправду не остановил никто).

Вот тут Достоевский выходит из своей глубины, изнутри вовне. Он кричит, предупреждает, плачет, может быть, бьется в припадках.

Словом — действует, как может. Да как же иначе? Неужто сидеть, сложа руки, и ждать, пока бесы окончательно погубят Россию, придут к рукам безответный народ русский? Нет, спасти этот народ и — спастись этим народом, учиться у него, любить его, не отрываться от него, от почвы своей, от родной нашей почвы. Ведь весь ужас начался от этих отщепенцев, от тех, которые отделились от почвы. Ужас начался от всех этих лириков, лишников...

На самом деле, «герой нашего времени» был героем только русского образованного слоя («образованщины», как сказали бы сейчас). К народу он, герой этот, не имел никакого отношения (как и народ к нему). И если Бог был потерян в русской «образованщине», то в народе-то Он не был потерян. **Не умер Бог в народе.** Вот что было вторым открытием Достоевского после каторги.

Первым его открытием был сам Бог. Истинное созерцание. Боговидение. Он в самом деле **увидел Истину.** Живой образ ее.

Второе открытие основывалось тоже на видении. Только видении чего? Целого? Великой глубины, не вмещающей в очевидность и умопостигаемость? Нет. Как раз наоборот. Это было **умопостигаемо** и очевидно. Второе его открытие основывалось на некоторых фактах, которые он заметил и обобщил.

Достаточно ли были эти факты для такого обобщения, не будем обсуждать. Допустим, что достаточно. Речь идет не об этом. Речь идет о разнице между фактами, появляющимися в данное время и в данном месте и исчезающими в другое время и в другом месте, — между временными и ограниченными фактами и вечной, безграничной реальностью. Факты вполне доброкачественны и уместны в своем пространстве — и времени — в мире явлений. Но в Вечном духовном пространстве факты — это фантомы.

Там они не значат ровно ничего. Смещение мира Истинной Реальности с миром фактов — все равно что смещение Божьего дара с яичницей. Не про то это, не о том!..

Федор Михайлович, прорвавшийся сквозь время к созерцанию Вечной Реальности, вдруг испугался реальной бездны, открывшейся ему, и как истинный сын своего позитивного века, задал вполне позитивистский вопрос: а где она, эта Вечная Реальность, обитает? К какому месту прикрепить, по какому ведомству отнести?

Мне известно одно сказочное правило: на вопросы «где?», «как?» и «когда?» волшебники не отвечают... Вопросы такие — уловка лукавого, который только и норовит выманить души наши из глубины на поверхность...

Я вовсе не хочу сказать, что вера Федора Михайловича в народ была неправдой. Русский народ хранил еще живыми святыни, уже умиравшие в образованном слое. И это было отнюдь немаловажно. Но это было правдой **поверхностного уровня.** И уровень этот нельзя было смешивать с уровнем вечным, глубинным.

Я не хочу обсуждать, был ли русский народ впрямь святым или не был. Предположим, что был. Но ведь все-таки не так был он свят, как безгрешные люди с планеты смешного человека. А ведь даже и эти люди пали, когда к ним пришло ведение греха. Ибо они были святы по неведению, святы некоей «безотчетной» святостью, святостью детей. Секрет этой святости был в том, что смотря на мир, на красоту его, на свет,

они забывали себя, превращаясь как бы в одно только зрение. Как только они стали замечать себя, сравнивать, кто из них лучше, красивее, в ком больше света, кто умеет лучше видеть красоту, и т.п., — свет стал меркнуть.

Знание законов жизни стало выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. Появилось бытие кажущееся, бытие своего отдельного «я» — в отличие от нераздробленного бытия Бога. Достоевский понял, что эта вторичность жизни, эта тень, выдающая себя за живое существо — причина всех зол, всего ужаса человеческой истории. С этой «тенью», заменяющей солнце, он и вступает в бой.

И борется. Всю жизнь борется, хотя с первых же шагов начинает ошибаться. Знает это. Иногда поправляется. А иногда — закусывает удила и начинает настаивать на ошибке...

Никакой народ, даже безгрешное население рая, люди-ангелы из провидческого сна не могут быть непоколебимой почвой добра. Все физическое, тварное, всякая земная почва могут уйти из-под ног.

**Для христианина нет почвы под ногами. Она только на небе. А небо — внутри.** И Достоевский, живущий на глубине духа, это знает. Ведь несмотря на весь ужас, произошедший на планете смешного человека, несмотря на полный крах земной, Дух света, Дух радости остается цел. Смешной человек проснулся после своего сна воскресенным. Все было разрушено. Осталась только живая душа. И этого одного было достаточно для великой радости. Радости о найденной истине.

Все земное может быть опорой только для земного, для временного. Вечное наше, дух наш может опираться лишь на вечное.

Воплощается ли Бог в народе? Я такого воплощения не знаю. Я знаю Бога, воплощенного только в личности. Личного, а не народного Бога. И то таинственное усилие, которым царствие небесное берется (или поддерживается), есть усилие, направленное внутрь. Это внутреннее дело каждого. Люди могут собираться для общей молитвы, но предстояние будет всегда только лицом к лицу. И ни заслуги народа, ни грехи народа не засчитываются в час, когда личность встречается с Богом.

Вот я. — Вот Ты.

Шатов в своем огненном разговоре со Ставрогиним говорит, что он не Бога низводит до атрибута народа, а, напротив, народ возводит до Бога. Как бы там ни было, получается некий знак равенства. Равносущность. Равночестность. Так вот, утверждаю: такое может относиться только к личности. Народа, достигшего слияния с Богом, история не знает. Значит, может быть, только мифы. Но и в мифах это состояние (слияние) неустойчиво. А самовозвеличение одинаково опасно как для личности, так и для народа. Светоносный ангел пал, возгордившись; и безгрешные народы мифов падают, когда какой-нибудь пришелец с грешной земли или выходец из образованного слоя будет не заражаться их безгрешностью, а заражать их своим грехом. Достаточно усвоить, что мы единственные, самые лучшие и исключительные, — и ад торжествует.

«Что называешь ты Меня благим? Никто не благ, как только один Бог»...(Матфей, 19:17) Даже Христос не принимал обожествления себя как сосуда Божьего (только того, что в сосуде). Исключительность может исключать из Целого, а не причащать Ему. Исключительность, избранность еврейского народа, утверждаемая Ветхим Заветом, имеет, как и все земные слова и понятия, два возможных толкования: буквальное

(оно и переносится Достоевским с еврейского народа на русский) и духовное — то, которое привело к Христу, говорившему, что Он есть истинный исполнитель Духа, а не буквы Моисеева закона.

Это второе толкование избранничества есть избранничество на боль, на муку, на ответственность за всех (грехи мира взять на себя). Чем больше дано, тем больше спросится. А если народу дано, заповедано чувство Единого Бога, значит народу этому заповедано вечно искать и хранить единство со всеми народами, со всеми детьми Божьими. Ибо все — дети Божьи, и извергая кого-то, — Бога извергаешь, извергаешь себя из Бога...

Утверждаю, что христианин не может понимать это иначе.

Шатов говорит о народе, который верует, «что он способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной.» Стало быть, ответственность за всех, истина для всех? И тут же: «Истинно великий народ не может примириться со второстепенную ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного...»<sup>63</sup>

Да почему же это, если одна истина. то ее может вместить (иметь) только один народ?! Почему единая истина не может быть у двух, трех, десяти и в идеале у всех людей и народов? Разве не к этому стремились апостолы? Не на это ли вдохновил их Дух Святой?

Точки, с которых мы смотрим на вершину горы, у всех разные. Но сама вершина — одна. Реальность одна. БОГ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. Иначе это не Бог, а боги, языческие боги, дерущиеся между собой и дробящие мир на тысячи осколков. Целое потому и Целое, что все включает, а не исключает.

«Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, тогда само различие между добром и злом начинает стираться и исчезать» (Шатов).<sup>64</sup>

Если понять Шатова буквально, это — антихристианская идея. Христианство для того и пришло, чтобы заменить народные представления о добре и зле сверхнародными («...для иудеев соблазн, для эллинов — безумие.» /1 Коринфянам, 1:23/). Но Шатов имеет в виду не христианство, а просвещение с его стертými истинами здравого смысла. Здесь он отчасти прав. Когда понятия о добре и зле становятся заученными, чисто рационально усвоенными общими местами, без корней в иррациональных глубинах души, тогда исчезает и личность народа, и отдельная человеческая личность. Но ведь это значит только, что нет вчерашней истины, что истина всегда сегодняшняя, что понятия о добре и зле надо созерцать, вынашивать и рождать заново, — то есть заново отыскивать в Вечной реальности и водворять в наш временный мир. Но в вечности-то они есть — общие всем, единые понятия о Добре и Зле. И если бы это было не так, не было бы Бога.

И как можно спасти другие народы, не помогая им найти путь к самим себе, а навязав им свои, а не их понятия (о добре и зле)? Спасти душу — значит привести ее к ней самой, в ее же вечную глубину, а не увести в свое духовное пространство, захватив и подчинив.

Все это ведь почти трюизмы. И почему приходится говорить о

них?...Потому что если действительно христианский писатель путает понятия Родины и Бога, это далеко уведит от христианства... Если Родина земная начнет мериться и сопоставляться с другими и возвеличиваться, и провозглашаться первой и исключительной, то она становится родиной богом, подобно человекобогу, против которого так боролся Федор Михайлович.

Народ-богоносец... Может быть, он и нес Бога, пока ему не разъяснили, какой он хороший и особенный, этот народ. Но когда разъяснили и когда он это стал усваивать...Каким-то непостижимым образом стали соединяться две враждебные идеи — Шатова и Верховенского. И стал народ Шатова-Верховенского не строить, а разрушать...

Испугавшись разрушительных идей, рванулся Федор Михайлович к идеям охранительным. Но вот они стали незаметно переходить в разрушительные. Сначала — Россия выше всего, милитаризм мессианской страны, а потом народ взял да сменил меч внешней войны на топор войны внутренней: ненависть-то одна (к немцам ли, к буржуям).

Так ведь никто не боролся против этого так, как Федор Михайлович!

Да, да, разумеется... Но, может быть, слишком уж прямо боролся?...Может быть, не идеей надо было отвечать на идею? Может быть, не надо было отсекал, исключать, отрубать?...Не надо было давать выманить себя изнутри вовне?..

Человеческой идее воистину противостоит не другая человеческая идея, а живое созерцание истины, ее живой образ.

«Я видел истину, — не то, что избрал умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки»<sup>65</sup>

Так, может быть, дадим слово самому этому живому образу истины? Да, конечно! Только прежде еще несколько слов о том, как их различить... идею и реальность, человеческое изобретение и нечто нерукотворное, не мыслетворное — Божье.

Войдем в каморку Шатова ночью, в час, наэлектризованный ожиданием, страстью, болью; в эту каморку, где сконцентрировались вся горечь и вся надежда, точно огромное пространство, уместившееся на кончике ножа. Как он ждал Ставрогина! Два года ждал! И вот он перед ним. И надо успеть уместить все мысли, все сердце — сжать все как в один кулак в одну мольбу, в одно заветие. И вдруг оказывается, что заклинять Ставрогина ему нечем... Ибо те идеи учителя, которые так запомнил, так свято сохранил и взрастил ученик, настоящей силы не имеют. И дело не в том, что Ставрогин изменил «хорошим» идеям ради других, а в том, что они идеи. Придуманнные идеи. А нужно что-то не придуманное.

Ставрогину может противостоять только человек, обладающий непридуманной истиной. Такого человека Николай Всеволодович чувствует сразу. Почувствовал в Хромоножке и женился. Кто знает, может, с надеждой на спасение? Потом возненавидел, чувствуя, что спастись не может... Такое же подлинно божеское начало почувствовал в Тихоне (зажегся сразу: «Я вас очень люблю». И опять очень скоро возненавидел: ведь это две стороны одной медали).Почувствовал и в Кириллове. Захотел сразиться, испытать силу свою — сможет ли «сбить» и такого? Смог. (Победа, ничего не давшая победителю). Смог, но все-таки чувствовал нечто, что может и уважать, и любить. Он относится к Кириллову ровнее,

спокойнее, чем к Тихону и Марье Тимофеевне (наверное, не чувствуя в нем вызова). Но Кириллов из той же породы — прикасавшихся к Богу. А Шатов? В ответ на его иступленный восторг Николай Всеволодович, холодно: «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов» И только. В чем же дело? В конце диалога Ставрогин спрашивает: «„Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?“

— Я верую в Россию, верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России. Я верую... — залепетал в иступлении Шатов.

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога. (Выделено мной. З.М.)

Ни один мускул не дрогнул в лице Ставрогина»<sup>66</sup>

Все, во что верует чистая душа Шатова, противопоставляется тому, во что верует, что планирует Петр Верховенский. Россия, ее православие, ее миссия — миссия новой родины Христа — во все это ни на грош не верит Верховенский. Именно эту веру он призывает опровергнуть, расшатать, растоптать. И однако все это еще вовсе не есть вера в Бога. И Ставрогин, хотя и очень хотел заслониться этими идеями от всех противоположных идей, в глубине души прекрасно знает, что не то это, не то... не об этом речь... Все это от черных дыр небытия, от сверлящих глаз дьявола не спасет...

А что же спасет? Что может спасти? Видение истины. «Я видел истину, — не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки».<sup>67</sup>

Вот что может спасти...А идеи? Да полно, ведь это все не про то...

«Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были до того убеждены в ней безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но было какое—то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, но зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной».<sup>68</sup>

Вот что такое истинная вера в Бога — чувство Бога, виденье Бога. Восполненное зрячее сердце, способное увидеть Тайну.

И вот когда сердце Шатова было восполнено до края и непостижимо засветилось, вот тогда он и залепетал свои глубочайшие слова о Тайне, которые никогда не убеждают, которые идеями не являются. Их может понять только такое же наполненное сердце. От сердца к сердцу. Из глубины — в глубину передаются они, а на поверхности не слышны, не видны, глупы, жалки. «Эк, напорол! — скажет Арина Прохоровна. — Так и всякая муха — тайна»<sup>69</sup>.

Петру Верховенскому до тайны этой нет никакого дела. Это ему ни к чему. С этим ничего не сделаешь. самого глубокого пласта, в котором живет Ставрогин — пробует любить, ненавидит, кощунствует— этого духовного пласта в Петре Верховенском просто нет. Вот почему он сам для Ставрогина — пустое место, никто. Для Ставрогина если нет Бога, то есть дьявол (и он ему уподобится). Для Верховенского есть вагон первого класса с картами, вином и кофе. Петр Степанович еще может жить элементарными идеями и чувствами. Ставрогин все исчерпал и дошел до пустоты. Какая идея спасет его от пустоты? Идеи такой нет. Только живой

образ истины. До этого нельзя додуматься. Это можно только созерцать.

И именно созерцание истины и спасет «смешного человека» от самоубийства. Он увидел сердцем. Что? Миссию русского народа? Его богоносную суть? Новые единственно русские представления о добре и зле?

Я не собираюсь спорить сейчас с этими идеями. Я только спрашиваю: он это увидел там, на безгрешной планете? Это? Там были русские, французы, немцы, евреи, со своими особыми представлениями о добре и зле? «Люби других, как себя. Вот что главное, и это все, больше ровно нечего не надо: тотчас найдешь, как устроиться»<sup>70</sup>

Это все? Неужели все? А Шатов столько наговорил! Вот когда пришла к нему жена, он вдруг вмиг это понял. И все остальное забыл, и уж так любил, что светиться стал — хоть ставь темной ночью вместо свечки. А когда не было любви, то сколько идей и каких убедительных!...

«Сознание жизни — выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо!». В этом убежден человек, созерцавший Истину. «И буду!». «Если только все захотят то сейчас все устроится. А ту маленькую девочку я отыскал...И пойду! И пойду!...»<sup>71</sup>

## ГЛАВА 12

### Я СТОЮ НА МОСТУ

Нет, не отыскали, Федор Михайлович. Она все еще стоит и плачет там, на мосту. Этот промозглый петербургский вечер все еще тянется. Пусть в другом пространстве и в другом времени. Ведь кто-кто, а уж Вы-то хорошо знаете, что от того, что внутри, в душе, не укроешься ни на Марсе, ни на Венере, ни в загробном мире. Вот почему я, еще живая, говорю с Вами, уже ушедшим с земли нашей — так, как будто Вы никуда не уходили. Вы и не уходили. Мы продолжаем жить в одном духовном пространстве, отвечая за каждое свое слово, каждый свой вздох, каждое душевное движение.

Чем отвечая? Как отвечая?

Слезами или улыбкой этой девочки или какого-то другого ребенка, какого-то открытого, живого, совершенно беззащитного детского сердца. Ваш Митя это знал. Если «дите плачет», значит он, Митя виноват. Где-то какое-то незнакомое дите плачет, а Митя в ответе. И ни с кем на замле он не связан теснее, чем с ним. Дите ему, Мите, унять надо. В этом главная его жизненная задача... Ну, а Иван с его внутренними весами, на которых вся гармония мира не стоит одной слезинки замученного ребенка?..<sup>72</sup>

Именно об ребенка разбивались любые ваши идеи, любые изобретения ума вашего. Великая любовь и жалость в самом сердце вашего сердца. Эта любовь — противовес всему выдуманному. «Не хочу гармонии!»<sup>73</sup> Не хочу мира, в котором мучают детей. Вот и в «Сне смешного человека» герой оттолкнул девочку потому, что живая жалость к ней как-то сбивала с толку его размышления, путала его идеи... И в конце концов девочка и сбила его с его убийственной идеи и спасла ему жизнь и душу. Благодаря ей он (Вы!) истину увидел.

И все-таки девочка еще стоит на мосту, и все еще жив ужас в ее глазах от того, как Вы замахнулись на нее, когда она мешала Вашей идее, очередной Вашей идее... Потому что не замолчало все выдуманное, человеческое перед живым, перед Божьим...

Я ведь не верю в Бога, который где—то «там», отдельном от «здесь», воздаст всем по заслугам. Я не верю в чуждого, не доступного сердцу Бога. Сердцу, глубине сердца все доступно. «Царствие Божие внутри нас». (Лука, 17:21) И не «там» оно и не «здесь»...

Бог для меня Тот, Кто одновременно и истец, и ответчик. Тот, Кто отвечает единственным способом: подставив самого Себя под удар. Он — в кротких глазах лошади, по которым бьет пьяный мужик, в непрерывных всхлипываниях зашедшего ребенка, в испуге и тоске той девочки. Он на кресте. На том самом деревянном — или, может быть, на другом — ибо несть им числа, крестам. Его крестам. И не замолкло, все еще длится Его последнее восклицание.

Неужели не было у Него никаких спасительных идей, чтобы избежать креста? Неужели надо было принять всю муку? Такую муку?! Неужели он не придумал бы чего-нибудь? Неужели наш ум изобретательнее Его ума, изобретательнее Божественного Разума?..

Но он ничего не придумывает. Он только постоянно есть. Он живет. И потому неотделим ни от чего живого. И если есть где-нибудь в мире страдание, то и Бог страдает.

Суть Его божественности в Его всецелости, в Его неотделимости ни от кого, ни от чего живого. Бог отделяется только от греха, который сам отделяется от жизни.

Пока есть грех, есть страдание. Пока есть страдание, Бог Сам страдает. Истец и ответчик в одном лице. Вот эта неразделимость лиц — тоже признак божественности...

Есть только одно крещение — причастие кресту. На перекрестке греха и страдания выбрать страдание. И только. Третьего не дано.

И ведь Вы это знаете, Федор Михайлович! И как знаете! Ведь Вы пронзены страданием мира и знаете, знаете ведь, что не сможете быть счастливым, пока на земле есть хоть один страдающий...

Но, может быть, яхватила через край...

Не можете Вы чувствовать каждое страдание, как свое собственное. Один Бог страдает в каждом страдающем, неразделим с каждой болью. Ведь это в одном Боге совсем нет греха. А в нас... А в Вас... Ведь Вы первый вытащили на свет из подполья того прячущегося человечка, который сидит в своем углу и говорит: «Миру провалиться, а мне чай всегда пить»<sup>74</sup>. Господи, в каком Вы ужасе от того, что этот грешник, этот подпольщик есть в нас!.. И в Вас есть... Присосался, как пиявка, к Вашему сгорающему, к Вашему прекрасному сердцу. И мучает Вас, и заставляет сомневаться в себе, в своей любви, даже в своей боли.

Полно. Не надо. Боль у Вас настоящая. Непомерная. И она уничтожит эту пиявку. Страдание уничтожит грех. Ведь Вы же увидели грех и не скрыли его. И это немало... Это так много!..

Но ведь жизнь кончилась. Разве можно еще что-то сделать? И уничтожить грех?

Ничего не кончено. Это должно случиться в нескончаемом духовном пространстве, таком же живом и открытом сегодня, как тогда, когда Вы еще жили на земле. Должно открыться подполье всё на сквозняк. Всё

проветриться, просквозиться Духом... Как? Когда? Не знаю. Но будет, будет...

А между тем, много случилось на нашей земле с тех пор, как Вы ушли с нее, так много! Сыновья восстали на отцов и брат на брата. И в этой сумятице неожиданно хозяином положения оказался Смердяков, человек дела, который не рассуждал, что позволено, что нет, а прямо взял и всё себе позволил. Смердяков остался жив, расплодился и размножился, и со своей подленькой усмешечкой всё и всех прибрал к рукам. Знали бы Вы, какую хвалу стал петь Иван Федорович прежнему лакею своему, которого он так презирал в Ваше время. И Митя, почесывая затылок, согласился, что недооценил великого гения. Если Вы всё это можете видеть в своем сне загробном, то трудно придумать кару пострашней. И, говорят, в кабинете у одного из этих Смердяковых у этого припадочного, бесноватого фюрера висел Ваш портрет... Мне было страшно сказать Вам это, Федор Михайлович, но Вы должны знать и это. Вы всё должны знать. Только я знаю твердо: не Вы убивали детей в газовых камерах. Я это знаю и говорю с такой же ответственностью, с какой Алеша говорил Ивану: «Я знаю одно, брат: не ты убил отца!»<sup>75</sup>

Не Вы... Не Вы... Но почему надо бояться, что Вас в этом могут обвинить? Потому же, почему и Иван боялся. Ах, — идеи... Во всякой идее заложено «Кто виноват?» и «Что делать?», и Вы замахиваетесь своими идеями на детей. Вот они, три ваши любимые идеи, любимые детища ума вашего. Это:

1) Идея о римском католицизме, «который уже не есть христианство», ибо поддался на третье дьяволово искушение — искушение властью. «Возвестив всему свету, что Христос без царства земного устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир».<sup>76</sup> Не оспариваю и не соглашаюсь. Только отмечаю: идея высказана четко и виновный найден. В гibelи западного мира виновно католичество.

2) Идея о русском народе, народе-богоносце. О народе исключительном, единственном. Можно обвинить в грехах весь мир, только чтобы оправдать этот народ от наветов. Борясь за правоту этого народа, можно огнем и мечом уничтожить другие. (И Вы, Вы провозглашаете священную войну, Федор Михайлович?.. Вы, подобно Магомету, о котором мечтал Раскольников, разворачиваете знамя джихада?!)

3) Наконец, есть такие виноватые, виноватей которых во всем мире не найдешь. Правда, Вы не говорите, что их надо физически уничтожить, но уж идейно уничтожаете так, что как только им и жить после этого... Эти виноватые, конечно, евреи. Те самые евреи, которые «жили для того, чтобы дожидаться Бога истинного, и оставили миру Бога истинного!»<sup>77</sup> Жили, оставили. Все в прошлом. Пора и самим стать прошлым. От них осталась только одна идея «жидовства», идея самосохранения любой ценой. Идея подчинения всего мира мудрецам Сиона. Ах, как этот миф разросся в нашем XX-ом веке!)

Спорить с Вами, разбивать ваши доводы — нет, не хочу. Я хочу

только дать Вам очную ставку с самим собой. В рассказе, который я часто цитирую, в «Сне смешного человека», вы не только пытаетесь понять причину грехопадения, кошмар истории, Вы ее, причину эту, видите сердцем. И вот тогда-то никого не вините, кроме себя. «Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех!..Причиною грехопадения был я.»<sup>78</sup> (Выделено мной. З.М.)

«Они научились лгать и полюбили ложь, и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом проник к ним в сердца и понравился им...Скоро, очень скоро пролилась первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться и разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Родились понятия о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя... Началась борьба за разъединение, за обособление...»<sup>79</sup>

А до... до лжи, до себялюбия, до грехопадения — что было тогда? Что есть всегда в глубине глубин?

«...Они не стремились к познанию жизни, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них, точно они говорили с себе подобными существами. И, знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и я убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью! Они указывали на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслью только, а каким-то живым путем...»<sup>80</sup>

Каким-то живым путем... Всегда ли Вы искали этот живой путь, Федор Михайлович? Не заменяли ли Вы его идеями, неживыми, выдуманными идеями? А там, на мосту, стояла и дрогла девочка и вызывала в Вас раздражение, потому что мешала Вам думать...

И кто знает, кто была эта девочка? Православная, католичка, русская, еврейка?

А ведь, Вы знаете, я не опровергаю Ваших идей. Я даже могу сказать, что в каждой из них есть своя правда. О римском католицизме, например, Вы сказали великую правду. Поэма о Великом инквизиторе — одно из величайших созданий вашего гения. Но всё, что в ней сказано о римском католицизме, относится не только к Риму, а ко всякой Церкви земной. Всякая Церковь в достаточной степени опирается на земных царей, на царство земное... Разве это не очевидно? Всё земное непрочно, всё подвержено соблазну. И осениться бы только крестным знаменем; то есть всем сердцем решить: выбираю крест. Пока есть на земле страдание, остаюсь с крестом, а не с теми, кто осуждает на крест; с Распятым, а не с

распинающими. И только. И тогда отпадут все горы доказательств, все союзы со своими знаменами...

Русский народ — народ-богоносец, единственный и исключительный? Ну что ж, может быть... Русский народ действительно долго хранил живую святыню, живую красоту духовную. Гораздо дольше, чем образованный слой общества, а может, и чем другие народы Европы; кто знает, может быть... Кто ближе к святыне, ближе к Целому, тот разумеется, ближе к истине... Но вот что вы пишете в наброске к «Бесам»:

«Сила в нравственной идее. Нравственная идея в Христе. На Западе Христос исказился и истощился. Царство Антихриста. У нас православие. Значит мы носители ясного понимания Христа и новой идеи для воскресения мира... Если бы пошатнулась в народе вера в православие, то он тотчас же бы начал раздаваться...Теперь вопрос: кто же может верить?..И даже вопрос: возможно ли верить? А если нельзя, то чего же кричать о силе православия русского народа? **Это, стало быть, только вопрос времени. Там раньше началось разлужение, атеизм; у нас позже, но начнется непременно с водворением атеизма**». (Выделено мной. З.М.). И далее: «А если православие невозможно для просвещенного (а через сто лет половина России просветится), то, стало быть, что все это фокус-покус и сила России временная... Возможно ли вправду верить?»

Вот ведь в чем дело: в Вашем сомнении. Вы то веруете, то нет. И когда веруете, Вам не нужны никакие оплоты, никакие доказательства, никакие идеи... А вот, когда вера начинает шататься, как Вы начинаете убеждать всех! Как горячитесь, как выходите из себя, чтобы во что бы то ни стало, хоть на волос, убедить... самого себя. Это Вам-то, видевшему планету смешного человека, говорить о невозможности веры для образованных? Это Вам-то, так хорошо знающему, что все это не про то... не про то... Разве «смешной человек» был необразован? А вот увидел истину и уверовал...

Вы боитесь остаться один на один с внутренним царством, — царством небесным. Вам нужна внешняя земная опора. Масса. Чувство локтя. А ведь личность, та самая «сильно развитая личность», о которой Вы так прекрасно говорили, развиваясь, проходит через пустыню, ту духовную пустыню, в которой нет ничего внешнего, и вся опора сосредоточивается внутри и только внутри. Есть часы, когда Вы боитесь Пустыни, Федор Михайлович, боитесь остаться наедине с Тем, кого любите больше всего на свете. Боитесь Ему довериться. Тому, Кто не имеет, где преклонить голову; Тому, Кто при всей благоговейной любви к храму сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн, 2:19).

Для христианина «всякое отечество — чужбина и всякая чужбина — отечество» — сказал Августин. Сын Человеческий очень любил свою земную родину, свой Иерусалим. Но небесную Он любил больше. И когда земная родина изменила Ему, Он ушел, — не для того, чтобы искать новую земную родину. «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Лука, 20:17). Но сначала он лишний, лишний...

Есть в мире лишние, добавочные,  
Не вписанные в окоем,  
(Не числящиеся в ваших справочниках,  
Им свалочная яма — дом).

Есть в мире Иовы, что Иову  
Завидовали бы — когда б ...<sup>81</sup>

Когда б то, что принадлежит им по праву, не было бы так велико. Их место на земле не первостепенное, не исключительное, а все в себя включающее, то самое место, с которого «слишком многим руки для объятия Ты раскинешь по концам креста»<sup>82</sup>.

И опять мы пришли к кресту. И, видно, никак нельзя обойти его. Очень страшно потерять последнюю опору вовне. Остаться ни с чем. С крестом. На кресте. Если даже Ему было страшно в Гефсиманскую ночь, то уж что говорить о нас?.. Как хорошо было что-нибудь придумать, чтобы избежать этого ужаса — одинокого противостояния всему внешнему, сцепившегося в массу мира. Неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы избежать этого?! Может быть можно укрыться в народе? Нет ли у народа нашего неких гарантий, что он не погибнет? Нельзя ли его как-нибудь оградить от гибели? Ну, пусть он даже грешен, но, может, ему ангел с неба за какие-то особые заслуги луковку протянул... И пусть за луковку эту не хватаются другие народы. Не вам ведь!

Даже если в идее этой своя правда, даже если заслуги (луковка) не их, а наци, а грехи — их, чужих; даже если это было бы так, то кто мы — христиане или та злющая старуха из Грушенькиной легенды?

Кто лучше, кто хуже? Кто из народов самый избранный, кто самый отверженный?.. Хорошо бы предоставить решать это Богу, а не нам, людям. У нас есть свои и чужие. И мы склонны в своем глазу бревна не замечать, а в чужом соломинку видеть.

Спасительные идеи... Похоже, что их нет и придумать ничего нельзя. Остается то, что не придумано, то, что есть: грех и страдание. Теоретик Раскольников, грешник Раскольников изо всех сил сопротивлялся Соне (как и душе своей собственной) и не хотел каяться. Как ему хотелось, чтобы осталась хоть капля его исключительности, особого права сверхчеловека! Или он сверхчеловек и тогда «право имеет», и можно еще жить, а не идти в каторгу, или.... или — крест. И нет другого выбора.

А не осталось ли в Вашем изболевшемся сердце, в Вашей измученной душе, Федор Михайлович, одного маленького атома этой веры в сверхчеловека, которую Вы так яростно убиваете?.. Если не в сверхчеловека, то в сверхнарод... Не все ли равно? Какой-то атом сопротивления Христу... Соклази не принять креста, несмотря на все слова, ибо крест — это полнота смирения, полный отказ от опоры на что-либо внешнее, полная отдача себя Богу — который неведом уму, но ведом сердцу...

Пока есть на земле страдание, нет другого пути, как принять страдание. Бог страдает с каждым страждущим. И только сораспявшись Ему, можно воскреснуть с Ним к жизни вечной. Но пока в нас есть грех, он, грех, не хочет, чтобы его убивали. Он изворачивается. Он говорит: его, их распните, а меня оставьте. Я жить должен, я особенный.

Бог принимает крест.

Грех его отбрасывает.

А для нас перекресток выбора: С Богом? Или с грехом?

Ведь Вы не любите свой грех, Федор Михайлович! Вы ненавидите грех, как мало кто на свете! Вот только совсем ли Вы его одолеваете? Готовы ли Вы сделать то последнее усилие, чтобы оттолкнуть его весь, совершенно? Ведь я спрашиваю Вас, у которого по сути нет выбора. Вопрос у Вас не может решиться в отрицательную сторону, — вся Ваша любовь с Тем, Который на кресте. Ведь Вы без Него — не Вы. Так вот потому и нужно то последнее усилие. Единственно, что нужно... Потому что даже одна маленькая трихина... сами же Вы сказали, что она могла сделать.

**ГЕНИЙ  
И  
ЗЛОДЕЙСТВО**



## ГЛАВА 1

### СИМВОЛ ВЕРЫ

«Он же гений как ты да я, а гений и злодейство — две вещи несовместные.

— Ты думаешь?...»<sup>1</sup>

Не обязательно быть Сальери, чтобы усомниться в этом. Достаточно не быть Моцартом, для которого это очевидно.

Как это может быть очевидным? Очевидно совсем другое: на чью только голову ни садится талант! Талант, гений нравственно безразличны, примерно, как цвет глаз и волос.

Наверно каждым очам видно свое. И нет одной для всех очевидности... Через несколько десятилетий на страницах романа Достоевского встретятся еще две пары глаз. Это Христос и Великий инквизитор<sup>2</sup>.

Одному будет очевидно, что человек создан по образу и подобию Божию, что человек может и должен быть безгрешным. Другому будет совершенно очевидно, что это вредный вздор, что человек — слабодушное грешное существо и иным быть не может. Инквизитору так очевидна вредность Христа, что он считает себя обязанным сжечь его на костре. Только вот почему-то, по странной нелогичности, взял да и отпустил. А Христос молча поцеловал его. За его муку, за насилие над собой. Потому что в самой глубине души инквизитора — тот же молчащий Христос. И инквизитор не может решиться на самоубийственный акт. Душа еще жива в нем... А Сальери решается. Но как бы там ни было, а этот диалог двух разновидящих, диалог с братом-врагом, диалог с безмолвием, в конечном итоге — диалог рассудка с душою, с собственной глубиной своей, с Богом — начался в русской литературе с маленькой (и грандиозной) трагедии Пушкина. И, может быть, длится он и по сей день. Ответа на вопрос Сальери во внешнем, обозримом пространстве нет. Он внутри. Моцарт отвечает на него своим бытием, своим взлетом в небо, которые с низостью несовместимы.

Пушкинский Моцарт, как и сам Пушкин, знает, что гений — носитель божественного огня. Высокое вдохновение божественно, получено прямо от Бога. Гениальность, вдохновение есть как бы сопричастность божеству. И потому утверждать совместимость гения и злодейства — все равно, что утверждать совместимость Бога и греха! «Гений и злодейство — две вещи несовместные» — есть символ веры. Пушкин исповедует эту веру. Он пророк этой веры. Ему было откровение. У него была встреча с шестикрылым серафимом. Было созерцание великой божественной высоты. И это в Пушкине главное. Веянье Духа, сверкание горных вершин, рокот морских валов, призывавших душу к безмерности и гармоническому строю — вот что любил Пушкин более всего. И любовь эта была ревнива (Бог ревнив). Она

не допускала совмещений идеала Мадонны с идеалом содомским. Шестикрылый серафим требовал себе всего человека, всю душу. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли».<sup>3</sup>

Но восстал ли? Или восставал и падал? Исполнился высшей волей? Или то исполнялся, то снова своевольничал? Или исполнялся лишь на Парнасе, а на нашей земле грешил, как все прочие, и даже среди детей ничтожных мира был всех ничтожней?

Именно так это и было, по собственному его признанию.

Среди пушкинистов есть такие, которые придают этому признанию весьма малое значение. Мучительных противоречий в душе Пушкина они не видят. Пушкин для них един, гармоничен и прекрасен.

Другие, напротив, считают разрыв между человеком и Поэтом, человеком и Гением нормой и образцом. Только так и может, и должно быть. Гению, мол, всё прощительно. Ему нужна как бы разрядка после напряжения.

Но для тех и других символ веры Пушкина отодвигается куда-то на периферию, становится чем-то мало значимым. У первых Пушкин уже достиг всего и поэтому больше ему двигаться некуда. У других — в Пушкине две совершенно раздельные природы: и огромная высота, и совершенная низменность. Но опять никакого движения.

Я не думаю, что Пушкин всего достиг. Я думаю, что в нем совмещалось и высокое, и не слишком высокое. Но он любил высоту и его низшее начало не было в нем неизменным. Я думаю, что главным в Пушкине было движение, внутреннее восхождение души к вершинам, сверкнувшим ему в откровениях. В замечательной книге В.Непомнящего есть такое место: «После плоской, „метафизической горизонтали“ вольтерьянства, Кавказ... дал ему объем: своей природой, „дикими“ нравами, бурлящей жизнью, идущей по иным нормам. Кавказ дал ему вертикаль — главным образом физическую (особенно в молодости). И он на деле убедился в том, что существует Высота».

После этого он снова оказался в горизонтальном мире — но это была лишь в физическом смысле горизонталь России, ширь, воля. И он, пришедший туда уже новым, другим, вдруг открыл здесь — увидел — тоже высоту, но уже не физическую.

После этого появился шестикрылый серафим».<sup>4</sup>

Видение высоты, сверкание зевесовых молний в небе — было у многих поэтов. Однако подлинность встречи с божеством узнается по плодам — по тем следам, которые остались в душе (и на бумаге). В душе Пушкина была проведена черта, подобная Кавказскому хребту. В грудь его был вложен божественный уголь. И потому-то он знал, различал ясно, словно горные линии на безоблачном небе, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Высота пересекла Пушкина и стала действовать в нем — пересоздавать его.

В Пушкине, а от него и во всей русской литературе началось движение ввысь и вглубь — к преображению. В этом-то и была святость русской литературы. И она не совпадает просто с совестливостью, так же как поэзия не совпадает с нравственностью (ни в коем случае, однако, не разрывая с ней). Некоторые литературоведы выпрямляют тайные ходы поэзии и измеряют ее внешним ей моральным мериллом, видят святость, витающей над поэзией, а не ее внутренним законом, до времени не проявленным.

Тот же В.Непомнящий, анализируя стихотворение «Поэт», подчеркивает, что где-то внутри горделивой самооценки поэта есть некий «червячок» глубокого недовольства собой. Тому свидетельство — «малодушно погружен», «хладный сон», «и средь детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он»... Червячок нечистой совести. И вот — предполагает Непомнящий — именно от этого «червячка» и «бежит он, дикий и суровый» «на берега пустынных волн»...

А если бы совесть была чиста, не побежал, не полетел бы, не взлетел бы на крыльях туда, на великую, абсолютную высоту? Думаю, что этот взлет в иной план бытия — и есть беспричинное, сверхразумное Таинство творчества, равное Таинству самой жизни. Пушкин хорошо сознавал это, когда говорил свое «поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совершенно другое дело...»<sup>5</sup>

Истинная поэзия, вдохновленная Богом, заставляющая трепетать всю душу, — благодатна. И как благодать выше закона, так истинная поэзия выше нравственности, ибо в ней проявляется свободное действие Духа — Божественное дыхание. К поэзии не применимы внешние нравственные мерки, но она внутренне религиозна. Пушкин чувствует это, и отсюда аксиоматическая формула его изречения о несовместимости гения и злодейства.

Истинной поэзии также изнутри присуща религиозность, как истинной религии поэтичность.

Религия неотделима от искусства, искусство — от религии. Религия без искусства суха и мертва, обращена не к душе, а к рассудку. Искусство без религии теряет измерение высоты и глубины, мелеет и в конце концов вырождается.

Пушкин, в высшей степени причастный божеству и вдохновенью, стихийно, органически религиозен, хотя религиозность его не неизменна. Она колеблется, испытывает кризисы, проходит разные стадии. Она развивается.

Прежде всего Пушкин чувствует божественность гения и видит, что измена гения божественному, безгреховному началу есть измена своему истоку, своему глубинному «я». Гений, ставший злодеем, перестает быть самим собой.

## ГЛАВА 2

### СТИХИИ И ДУХ

Пушкин видит некую скрытую от глаз черту, некий духовный закон. Но именно видит, провидит внутри, в глубине вещей, а не навязывает извне. Меньше всего Пушкин навязывает что-либо живой жизни, меньше всего судит. Отделить черное от белого, разделить единую Жизнь на Добро и Зло — дело самое трудное, посильное, может быть, одному Богу. Пушкин ничего не определяет. Он дает расти и самоопределяться всему живому.

Он певец стихии. Кто любил и воспел стихию больше, чем он?

Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой.<sup>6</sup>

Что это за краса? Добрая? Злая? Она живая. И он доверяет ей.

Стихия в очевидном обозримом пространстве нравственно безразлична. Это «равнодушная природа», которая не дрогнет от наших стонов и слез, которая не имеет ни ушей, ни глаз, ни сердца. Она может быть ужасной разрушительной силой. Так почему же ей надо доверять?

Потому что она же и созидательная сила. Потому что она не только перед нами, но и внутри нас. Не только очевидность, но и не видимый очам Дух. Перед нами бушует буря. А **внутри** нас звучит некий голос из бури — весть о высшем смысле жизни.

Так как же понять, хороша или плоха буря, добра или зла стихия? Понять, рассудить мы никак не можем. Стихия больше нашего рассудка. И в ней нераздельно сплелись добро и зло. Доброе или злое море, несущее корабли и топящее корабли, губящее людей и поящее духом жизни? Мы захлебываемся от счастья перед грандиозным зрелищем грозы, но можем ведь и насмерть захлебнуться в потоках дождя, сгореть от молнии.

И вот перед нами человек, который

... весь, как Божия гроза.

Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен.<sup>7</sup>

Это — Петр Первый. Когда мы хотим во что бы то ни стало определить Божью грозу, отнести ее по тому или иному человеческому ведомству, мы рискуем уподобиться Сальери, вычислившему за Бога, где правда, где ложь, и за Бога совершившему свой «правый» суд.

Петр в «Полтаве», Петр в «Медном Всаднике» и ужасен, и прекрасен одновременно, как ужасна и прекрасна песня Вальсингама. В ней рокочет бездна. Но ведь в этой бездне, в этой пустыне мрачной, по которой влачился Пушкин, томимый духовной жаждой, сверкнули ему крыла серафима. И разве встреча с серафимом не ужасна по-своему? Сколько бы людей бросилось бежать от пылающего вестника, который вырывает язык и кровавой десницей вкладывает в уста другой, рассекает грудь мечом и оставляет человека трупом лежать в пустыне.

Встреча с божеством страшна. Сказал Господь: «...человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исход, 33:20). В нем умрет то, что смертно. И пробудится к новой жизни его бессмертная суть. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли!»

Шестое чувство — чувство крыльев духовных, чувство бессмертия, живущее внутри смертного человека. Оно таинственно и неопределенно. Надо решиться на эту неведомость, надо шагнуть в бездну, поверив шестому чувству больше, чем всем остальным, испытанным пяти.

Человек смертен, — говорят пять надежных и вполне определенных чувств.

Человек бессмертен, — поет шестое, совершенно неопределенное, совершенно ненадежное, ничем извне не подтвержденное. Тот, кто поверит этому шестому, этому внутреннейшему, бросается в бездну, идет навстречу смерти — и, может быть, навстречу бессмертию. Ощущение бессмертия может прийти только после смерти всего смертного.

Бессмертен феникс, восстающий из пепла. Но сперва — огонь, смерть. И это всерьез. Можно и не восстать из пепла, не выплыть, можно не преобразиться, а захлебнуться, потонуть в стихии — сгинуть.

Отчего это зависит? От собственного Духа. Стихия бесконечно больше нашего рассудка. Но не нашего Духа, который один и тот же и в стихии, и в нас. Тот самый голос из бури, который слышен только внутренним слухом, звучит только внутри.

Стихия есть момент жизни и становления духа, момент его бесформенного, незавершенного существования. В ритме стихий прослеживается путь Духа. Прекрасно пройти вместе с Духом сквозь стихию. Ужасно застрять в стихии, покориться ее инерции и стать камнем на пути Духа.

Собственно стихия есть материал, глина. Вятедь — Дух. Схватка Духа со стихией — это схватка Творца с непокорным Ему материалом.

Это и есть творчество. Избегать такой схватки значит избегать творчества. Истинный Творец знает, что творческая схватка священна. Но он именно схватывается со стихией, скрещивается, соединяется — и возникает нечто новое, третье — воплотившийся Дух. Одухотворенная плоть. Творчество и есть воплощение Духа и одухотворение стихии.

Творчество часто начинается с перекроя, разрушения отживших форм. Но не дай Бог допустить до разрушения Духа, до разрушения живых форм, в которых Дух дышит. Не дай Бог быть захваченным инерцией разрушения.

«Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Матфей, 8:22). — то есть за вечно живым, отряхнув прах; но «не убий». Не разрушь живое!

Можно идти или стоять, в зависимости от того, движется или утверждается сейчас, в этот миг Дух живой. Дух может жить и в буре, и в тишине. Дух — в буре, когда она разрушает отжившее; Дух — против бури, когда она разрушает живое. Словом, покой или движение, сами по себе ничего не значат. Важно быть в покое или в движении вместе с Духом, а не в инерции покоя или в инерции движения без Духа, против Духа.

Встреча с серафимом — высший миг творчества. Меч серафима — духовный меч, отсекающий все брэнное, все инерционное. Меч, отделяющий внутреннее — вечное — от внешнего, брэнного. Покорность этому мечу есть покорность глины Духу. Наш собственный Дух должен пойти навстречу Духу Божьему, против непокорной, слезавшейся, инерционной глины. Творящий Дух по сути ближе нам, чем ты сами себе, — чем наша собственная стихия, наши страсти. Дух этот больше «Я», чем я сам. Истинный вятедь сотрудничает с творящим Духом и дает Ему месить и лепить себя — глину. Но глина может не даваться в руки. Схватка может кончиться победой материала над вятедем. Тогда гибель. В лучшем случае — физическая. В худшем — духовная.

Гибель духовная наступает тогда, когда Дух захлебывается в инерции разрушения; или тогда, когда он упорствует в инерции сотворенной формы против творящего Духа. Когда он не дает Творцу разрушить свое затвердевшее тварное «я». Вечность отдельности, ограниченности — это абсурд, стремление к нему — противостояние началу, сотворившему тебя. Вечен только Творец. Тварь, желающая быть вечной без преобразования, без причастия Творцу, становится демонической.

Сильная тварь как бы выхватывает меч у серафима и присваивает

его — вместо того, чтобы подставить ему грудь, дать ему отсечь все брэнное в себе самой. Меч выхватывается и направляется не в себя, а на других, не внутрь, а вовне — на весь мир. Тварь победила. Она стала обладателем меча вместо того, чтобы дать Духу обладать собой, пересоздать себя.

Такой победитель обретает огромную силу. Он становится властелином, — князем мира сего. Но он уже не причастен Творцу, не причастен Любви. Он противостоит Ей. Демон.

Сила души Байрона была огромна. Ее пламя было никак не меньше, чем пламя пушкинской души. Но... то ли он не встретился со своим шестикрылым серафимом, то ли не захотел подставить ему собственную грудь, предпочитая тягаться, бороться с ним — сила на силу. В такой борьбе силы истощаются, вычитаются одна из другой. В пушкинском случае — складываются.

И все же именно эта сила, эта безмерность так захватила Пушкина в Байроне, да и в Наполеоне тоже. Сегодня мы вынесли наши приговоры, оценили того и другого, определили, измерили с высоты веков (точно бы это наша собственная высота). Но тогда видна была только стихийная сила, взывавшая к Духу, вызывавшая Его. Пушкин чувствовал величие этой силы и упивался ею.

Шуми, взволнуйся непогодой.  
Он был, о море, твой певец!  
Твой образ был на нем означен,  
Он духом создан был твоим!  
Как ты, могуч, глубок и мрачен.  
Как ты, ничем не укротим.<sup>8</sup>

Не надо хвататься за эпитет «мрачен» и сразу разграничивать мрак и свет, черное и белое. Он был могуч и глубок — а это выше всех делений, это — поэзия, которая «выше нравственности или по крайней мере совершенно другое дело...».

Куда будет направлена эта мощь — об этом речь впереди. И это уже совершенно другое дело. (Однако, дело великой важности)...

Пушкин любит тех, кто доверился творческой Силе, кто не испугался смерти и предпочитает, как орел в калмыцкой сказке, тридцать лет питаться живой кровью, чем триста — падалью. Падаль — это (в данном контексте) пища, пережеванная другими, полученная из чужих ртов. Такая кащица не питает дух. Истинную пищу, от которой расправляются орлиные крылья, добывают не так.

Ее добывают с риском для жизни и даже, может быть, с риском для души. В битве со стихией. В духовной битве, исход которой неведом. Бросок в Неведомое — вот что лежит в истоке всякого творчества. Как семя бросается в землю, поглощающую его. Исчезновение. Смерть. «Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн, 12:24).

Если умрет, начнет прорастать нечто новое, иное. Начинается рост. Нравственная неопределенность души означает только, что она еще не выросла. Древо души растет, и поэт прислушивается к его росту, не позволяет вмещиваться в божественный процесс своему человеческому рассудку. Нравственность застывшая, всем ведомая, измеренная

нравственность, не помогающая расти душе, — мертвая вода. «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!»,<sup>9</sup> «на вес кумир ты ценишь Бельведерский; Ты пользы, пользы в нем не зришь».<sup>10</sup> Нравственность — польза, которую может взвесить и измерить рассудок. Это камень, преграждающий источники жизни. А Поэзия и есть такой источник. Из которого даже демон готов напиться:

Прости, — он рек, — тебя я видел,  
И ты недаром мне сиял.  
Не все я в небе ненавидел,  
Не все я в мире презирал.<sup>11</sup>

Вот он, луч в бездне, надежда на спасение в живом явлении красоты. «Красота мир спасет», — скажет потом Достоевский, — как бы доглядев до конца мысль обожаемого им Пушкина.

Демон, полюбивший ангела, уже не совсем демон. Он не стал ангелом, но что-то в нем произошло, и, может быть, это шаг к преобразению. Так, с великим мучением, рождается к новой жизни человек. Рождается через поэзию. Он становится поэтичным, т.е. не слепым к божественному, не слепым к прекрасному.

Поэзия есть отклик, ответ Богу. И там, где одна нравственность бессильна, поэзия может быть оплодотворяющей силой. Поэтому поэзия священна даже тогда, когда она нравственно не определена, даже если в ней свились вместе добро и зло, как в живом дереве, обвитом змеем, как в демоне, полюбившем ангела. Искра любви, запавшая в него, — священна. Прорастая в злой почве, она может разрушить зло изнутри него самого. Зернышко света во тьме может разрастись и рассеять тьму...

Мрачные, стихийные герои Пушкина чаще всего, именно такой клубок добра и зла, света и тьмы. Поле боя Бога и дьявола, а точнее, Духа и стихии; дьявольской становится только стихия, победившая дух. А здесь этого нет; здесь стихия еще в борьбе с духом: не победила, но и не побеждена. И поэтому не осуждайте, не вырывайте с корнем душу: она еще живая. В ней действует сила Божья.

Пушкин хорошо знает о страшных чертах характера Петра. И о Наполеоне знает. И уж, конечно, о Пугачеве. Но он поэтизирует и Пугачева, и Петра, поэтизирует Наполеона, даже зная, что говорит, может быть, неправду. «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман... Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран!..»<sup>12</sup> Тиран. Это сила, потерявшая благоволение поэзии. Сила без сердца. Сила, глухая к божеству. Это смерть.

Сила сама по себе греха не имеет. Это энергия. Ее надо уметь направить, как энергию всякой стихии — воды, пара, огня. А для этого надо прежде всего уметь вынести ее напор. То есть взять ее внутрь.

В руках Любви эта сила становится божественной, в руках себялюбия — демонической. Но прежде всего надо иметь силу. Миг обретения силы — великий, захватывающий миг в жизни души. Может быть, священный миг. Ибо сила — Божья. Только если вырвешь ее у Бога, присвоишь, она станет демонической. Да охранит от этого душу красота и любовь!

Тот, кто присвоит силу, обрывает связь с ее источником и, в конечном итоге, иссякает. Но пока человек сильный не замкнут на себе, пока он открыт красоте и добру, хоть на какой-то миг, хоть отчасти, он не

безнадежен. Душа его крупна. И если он повернется к добру, это будет великое добро. Если у героя есть сердце, он будет так же ошеломительно, чарующе великодушен как и могуч.

Сила, бесстрашие, величие — чаруют. Чтобы разрушить чары, надо развенчать героя, лишить его величия. Умалить. Он должен стать мелким в наших глазах.

Развенчивая Мазепу, Пушкин делает его мельче его злодеяний. Бессердечный себялюбец захлебнулся в собственном зле.

Петр, напротив, вырастает на глазах, как зарево на небе. Он не просто крупен. Он велик. Умалить его не так-то легко. Прежде надо дорасти до него, перерасти эту гигантскую фигуру.

В последующих произведениях Пушкин еще подойдет и к этой задаче. Но чем более велик Петр, тем труднее задача, и Пушкин никогда не облегчает себе ее, приуменьшая Петра, произвольно лишая его всякого величия, как Толстой Наполеона.

Пушкин видит величие и в Пугачеве. Пусть одного Петрушу Гринева полюбил этот мрачный человек. Но как великодушен, благодарен и бескорыстен он в этой любви! Способность разглядеть чистую душу и так щедро отблагодарить ее — великая способность.

Пугачев — мятеж, буран, взвихренный в ответ мировому злу и крушащий на своем пути все злое, а заодно и доброе. Пушкин ужасается и любит силу его души. И, кажется, всегда будет жалеть об этой загубленной, загубившей себя душе, в которой было столько жизни, столько бесценного огня...

Пугачев — один из тех падших, к которому Пушкин милостью призывал. Если бы этот грешник раскаялся, сколько бы радости было на небесах!.. И мы жалеем Пугачева, убившего капитана и капитаншу Мироновых, да только ли их? Мы жалеем этого разбойника, может быть, — как того, на кресте, который пожалел Христа, хотя кто знает, сколько душ загубил он перед этим... А вот Швабрина мы не жалеем. В этой душе — ни одного живого места, никакой поэзии: ни силы, ни бескорыстной любви. Швабрин пуст. И сердце наше так же глухо к нему, как и сердце Маши. Тут и рассуждать нечего.

Правда, рассуждать и о Пугачеве нечего. Что тут скажет рассудок? Вот песня — это другое дело! О Швабрине петь нельзя. А о Пугачеве можно. Стихийная сила вдохновляет на песню. И Пушкин поет. Поет о Пугачеве. Хотя и говорит устами Гринева: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Поет творенье Петра, хотя сердце его сжимается за Евгения. Поет о том, что чарует.

Крупный человек, величественная стихия — чаруют. Он их любит, даже если бьется с ними. И в любви, и в битве нужна песня. И Пушкин поет. Как Вальсингам во время чумы. Во время смертельной опасности, глаз на глаз с разбушевавшейся стихией запеть — дело великое. Кто знает, может быть, самое достойное человека. В стихотворении Гумилева «Звездный ужас» смертельный страх, от которого погибали один за другим взрослые, победила девочка: глядя прямо в глаза бездне, она запела. Страх ушел. И бездна больше не убивала.

Поэзия дает душе крылья и силу. И поэтому в «Пире во время чумы» на поле битвы с Чумой выходит Поэт.

Один святой на вопрос, кто научил его постоянной молитве, ответил: дьявол. Дьявол не оставлял его. Был рядом. И заставил святого быть

постоянно начеку, постоянно молиться. Вызов научил душу собранности, вниманию, непрерывной устремленности ввысь и внутрь — к Богу.

Чума, гроза — стихии — делают то же самое.

Но... Дьявол научил святого молиться Богу (а не себе, дьяволу). Дьявол научил святого бесстрашию — и только. Нельзя прийти к Богу, боясь дьявола. Тот, кто пугается дьявола, не вступает с ним в битву — не лучший слуга Богу. Но тот, кто вступает в битву, делает лишь первый шаг в глубину. Сам по себе этот шаг еще ничего не решает. Человек может и победить дьявола, и быть побежденным им.

Здесь проходит великая по своему значению и тончайшая черта. Знание, внутреннее ощущение этой черты — гениальная духовная чуткость Пушкина, тайная гиря, возвращающая душе потерянное равновесие. Может быть, здесь основа пушкинской гармонии.

От песни Вальсингама, в которой содержится ответ души на вызов смерти, от песни, в которой жжется предощущение бессмертия, от песни этой до полного хаоса, до служения стихии, до победы смерти — один шаг. И, вместе с тем, песня эта есть выход, призыв к внутренней силе, не позволяющей этот шаг сделать.

В песне — полет души, разворачивание духовных крыльев, обретенное бесстрашие. Но... перед кем бесстрашие — перед дьяволом или перед Богом? Бесстрашие перед дьяволом дает душе взлететь в вечную жизнь; бесстрашие перед Богом — упасть в вечную смерть. Бесстрашие перед дьяволом есть противостояние стихии, которое невозможно без роста души. Бесстрашие перед Богом есть опьянение стихией, полное подчинение ей. В обоих случаях — чувство полета, но в первом — это взлет, парение, во втором — инерционное кружение на одном месте, адский круг. В первом случае — возжигание духа, во втором — угашение его. «Низшим — оторопь я и одурь, высшим — заповеди язык», — говорит Ваху Марины Цветаевой в трагедии «Ариадна».

Задача Поэта — послать вызов дьяволу, удержаться на взлете и не попасть в адский круговорот, не утратить святиню внутреннюю, не закрыжиться в дьявольском вихре.

Нет Поэта в человеке, испугавшемся дьявола, но нет Поэта и в человеке, до конца завлеченном дьяволом. И тот и другой утрачивают чары, утрачивают зачаровывающую красоту.

Красота может быть божественной и демонической. Одна вечна и неисчерпаема, другая временна, иссыкает, исчерпывается и обнажает безобразие. И тогда человек перестает быть поэтичным, тускнеет; линияет, как Дон Гуан, испугавшийся Командора. Испугавшийся Дон Гуан — уже не Поэт. Он давно потерял страх Божий — тот священный трепет, который является признаком истинной жизни души, как дыхание — признак жизни тела. Но до поры до времени в нем было свое демоническое бесстрашие, и оно было поэтичным. Когда утративший трепет перед Богом затрепетал перед дьяволом — поэт совсем кончился.

Вальсингам — поэт. «Пир во время чумы» — выход из смерти в поэзию. А Поэзия не может не пройти через духовное борение. Пушкин призывает нас на поле духовной битвы. Тот, кто в этот миг стыдит Поэта, — уподобляется одному из друзей Иова. И Бог будет не с ним, а с Иовом. Голос из бури услышит Иов.

Поэт и есть такой Иов, к которому обращен голос из бури. Его призвание — слышать этот голос, а не избегать бури!

Песня истинного Поэта — не просто вакхическая песня, не просто разгул стихий, не вызов Богу. Такую песню Вальсингам петь отказывается.

...Послушай,  
Ты, Вальсингам! Для пресечения споров  
И следствий женских обмороков, спой  
Нам песню вольную, живую песню,  
Не грустию шотландской вдохновенну,  
А буйную, вакхическую песнь,  
Рожденную за чашею кипящей!

Председатель:  
Такой не знаю — но спою вам гимн  
Я в честь чумы<sup>13</sup>.  
(Выделено мной. — З.М.)

Беспечная вакхическая песня, песнь забвения, здесь слишком мелка. Поэт берет глубже и выше. Гимн Чуме есть заклятие Чумы, есть вызов Духа, способного сразиться с Чумой, есть высекание огня из Души, бросок в огненную стихию и испытание на огнеупорность. Воля человека здесь подобна мифической Фетиде, окунающей Ахиллеса в Стикс.

Итак, — хвала тебе, Чума.  
Нам не страшна могилы тьма...<sup>14</sup>

Это величественные слова, они выводят из оцепенения, из страха... но они не охраняют от возможности «очуметь», утратить заодно и страх Божий, утратить святыню — и потерять душу. Вальсингам, заклиная Чуму, уподобился языческому божеству, повелевающему ветрами. Он не дал одолеть себя. Но...где-то выше ветров есть тишь, непобедимая и вечная. «И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра» (3 Царств, 19:11—12). То, что ни с кем и ни с чем не меряется силами, что просто есть как свет, как основа нашего бытия. Святыня.

Только святыня, святая сила любви может охранить его. Человек, оскорбивший святыню свою, — лист, оторванный от живого дерева. Богобязненная Мери, хрупкая и нежная, оказывается куда крепче перед лицом смерти, чем Луиза, на словах не боящаяся ни Бога, ни черта. В гимне Чуме противоборство стихии может перейти в захваченность стихией, в инерцию гибели, но стоит священнику сказать: «Матильды чистый дух тебя зовет!» — как Вальсингам опрокинут: «О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище!..» — «Святое чадо света! Вижу Тебя я там, куда мой падший дух не достигнет уже...»<sup>15</sup>

Но видит, видит, но любит и потому остается после ухода священника в глубокой задумчивости.

И здесь, в паузе — некая пересекающаяся с хаосом линия, полагающая ему предел.

«В ГЛУБОКОЙ ЗАДУМЧИВОСТИ»

Задумчивость Вальсингама сродни великой концовке «Бориса Годунова» — «Народ безмолвствует». Безгласие, безмолвие народа было гласом Божьим. Это безмолвие было явлением Бога в человеческом мире. Оно пересекало дурную бесконечность причин и следствий, — если не в истории, то в душе человеческой.

Казалось, свершилось то, чего народ хотел. Свершилось правосудие над убийцей. Но... была перейдена черта, за которой правосудие становилось новым убийством. Человеческому рассудку разобраться во всем этом не так-то просто. Но если невидимая гиря, если глубинная чуткость существует, — душа жива и ее реакция будет совершенно неожиданной и как бы перечеркивающей всю логику событий.

«Народ безмолвствует...». Это гениальный ответ пушкинской души на разгулявшуюся, перешедшую через предел стихию. И кто знает, что стало бы с многострадальной землей нашей, если бы история так же блюла заветную черту, как Пушкин...

А Пушкин видел и показывал нам эту черту. И потому великий певец стихии не стал ее рабом. У него был свой господин. И чем дальше, тем больше Пушкин узнавал и любил своего внутреннего господина. Демоническим Пушкин не становится никогда. Стихийное начало — это то, из чего Пушкин вырастал, а не то, к чему шел. Демон мучил его, но в душе его было некое прещенье, как у Ивана Карамазова. Вопрос не мог решиться в отрицательную сторону. У Байрона, может быть, мог. А у Пушкина — нет. И именно потому, что Пушкин внезапно останавливался в глубокой задумчивости... Перед чем-то совершенно новым, перед вопросом неразрешимым для рассудка и незаглушаемым даже песней.

Безмолвие. Глубокая задумчивость.

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел...

Так начинается «Медный всадник»: с задумчивости Петра. А кончается он открытым вопросом, глубокой задумчивостью самого Пушкина. И мы сами, закрывая книгу, остаемся в полном недоумении. На чьей стороне нам быть? Великолепного Петра или бедного Евгения?

Люблю тебя, Петра творенье!  
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное течение...<sup>16</sup>

Но стоит ли эта великолепная и многими памятниками украшенная столица слезинки ребенка? Стоит ли она загубленной жизни Евгения — бедного, незаметного, но ни в чем не повинного человека?

Мне чудится, что начало этого великого вопроса Достоевского — здесь, в пушкинской поэме.

У Достоевского есть уже ответ: нет, не стоит.

У Пушкина ответа нет. Петр не развенчан, не умален. Он попрежнему

величественен и прекрасен. Пушкин всегда звал человека к величию, хотел видеть его окрыленным. Но сейчас, здесь, он затосковал о более душевном, более человеческом величии...

Он предчувствует новый образ Величия. Величие этого мира — не очень человечно; а то, что человечно, — редко дорастает до величия.

Поэма о Тазите осталась незаконченной. Поэма «Медный всадник» — законченный шедевр Пушкина. Но и та, и другая поэмы — тоска о новом идеале и ощущение незавершенности, недостаточности идеала прежнего.

Черкесы, среди которых живет Тазит, — не христиане. Россия — христианское государство. Как и все страны Европы. И однако вся европейская цивилизация (и Россия как часть ее) от воплощения истинно христианского идеала бесконечно далека...

Христианский идеал... Божественное величие, предельное могущество, которое скорее даст распять себя, чем причинить боль хотя бы одному из малых сих; чем применить насилие даже над мыслью других людей; величие, которое никого и никогда не подавляет, но всех зовет причаститься Себе...

Нет, ни Запад, ни Россия такого идеала не воплотили. Христианизированные народы гораздо ближе к доблестному черкесу, не щадящему ни своей, ни чужой жизни, чем к Тому, Вялящему любить врагов своих и подставлять левую щеку, если ударят по правой...

А сам Пушкин? И сам Пушкин тоже. Но он затосковал по Христу... И эта святая тоска чревата великими плодами...

Жил на свете рыцарь бедный,  
Молчаливый и простой,  
С виду сумрачный и бледный,  
Духом смелый и прямой.  
Он имел одно виденье,  
Непостижное уму,  
И глубоко впечатленье  
В сердце врезалось ему...<sup>17</sup>

Рыцарь так и умер в тоске по идеалу, далекому, только ему одному представшему в видении...

С той поры — все остальное ему мало, все не то... Идеала здесь, на Земле нет. Но есть уже знание, что то, что здесь есть; — не идеал.

Петр — прекраснейший из царей земных. Но этот «кумир на бронзовом коне» — не высшее, не идеал. И бесконечно страдающий маленький беззащитный человек подымает на него кулак:

Добро, строитель чудотворный,  
Ужо тебя...<sup>18</sup>

На этом, правда, бунт окончился. Бедный человек растоптан Медным истуканом. Он побежден своим страхом перед ним.

...У порога  
Нашли безумца моего.  
И тут же хладный труп его  
Похоронили ради Бога...<sup>19</sup>

И все? Нет, не все. Вскоре родятся от него в русской литературе все эти «бедные люди», «униженные и оскорбленные», юродивые, хромоножки, идиоты... И они затмят, заслонят собой бронзового великана. Он станет маленьким рядом с ними. А великими — они, те, кто не испугались медного топота, кто не слышит этого тяжело-звонкого скаканья, потому что души их заворожены другими звуками и глаза ослеплены не медным сиянием, — красотой Иного Царя... Мудрость мира сего окажется безумием перед Господом... Жалкая юродивая уничтожит презрением своим всеобщего кумира, — не обольстится им и не испугается его. «Я князя моего жена, не боюсь твоего ножа», — скажет Хромоножка Ставрогину.<sup>20</sup> Может быть, ум ее помешался, почти как у бедного Евгения. Однако это только тот, второй, внешний ум (не «главный ум», как скажет Аглая)<sup>21</sup>. Главный ум — внутренний человек — в ней цел и невредим и воскресает, когда внешний растоптан и почти убит. Внутренний человек в любимых героях Достоевского высвобождается из-под давления внешнего и светится сквозь истонченную плоть.

Внутреннее сияние, еле видимый нимб святости появляется вокруг убогих. Крепнет не внешняя, а внутренняя сила, беззащитные, слабые обретают внутреннюю твердь. И в романе «Идиот» самый беззащитный (и не желающий защищаться) одаривает всех жизнью и счастьем. Только в нем есть душевная полнота и свет. Этот тщедушный, бесконечно уязвимый по плоти человек духовно неуязвим. И хотя он также сходит с ума, как Евгений в финале поэмы, духовно он остается светом. Новый образ внутреннего величия дан. Физически растоптанный, распятый — бессмертен в Духе... Сама слабость, сама беззащитность становится у Достоевского священной и оскорбление ее — кощунством. Мир доходит до последней степени надругательства над беззащитной святыней. Но вдруг обнажается внутреннее пространство и становится видным тайный предел внешнего могущества. Кулак Евгения, поднятый на бронзового кумира, не забылся. В мире Достоевского поднялся другой — маленький, детский кулачок... И одним своим движением лишил силы жизни гиганта воли и ума. Это кулачок Матрешки перед лицом Ставрогина. От этого кулачка Ставрогин рассыпается на глазах, как живой труп.

Становится ясным, что все эти бронзовые и небронзовые кумиры, все «человекобоги» останутся, как зарвавшаяся старуха, у разбитого корыта. Как бы ни был велик тот, кто отделился от целого, он рано или поздно становится прахом, фантомом, ничем. Тогда как ребенок, причастный целому, даже самый слабый, становится всем. Впрочем, это еще далеко впереди. А пока что — глубокая задумчивость. Остановка перед открытыми, нерешенными, но уже не оставляющими в покое вопросами.

Князь Мышкин застывает, пораженный портретом Настасьи Филипповны. Он чувствует огромную силу ее красоты — и глубину ее страдания. Его душа перевернута. Он весь бросается ей на помощь. Но... «вот только... добра ли она?». Доброта решает, победит ли в ее душе свет или тьма...

Пушкин был добр, несмотря на все свои африканские страсти. Пушкин действительно «чувства добрые... лирой пробуждал... и милость к падшим призывал».<sup>22</sup> Был добр — и глубоко любил ангелическую красоту. Любовь эта была чем-то самым коренным в его душе и ограничивала, пересекала порочный круг страстей. На этих пересечениях формировалась личность и судьба Пушкина.

СВЯТЫНЯ КРАСОТЫ

Я помню чудное мгновенье:  
 Передо мной явилась ты,  
 Как мимолетное виденье,  
 Как гений чистой красоты...<sup>23</sup>

Благоговейный Пушкин. Пушкин, льющий слезы. Пушкин, страсти которого затихают и просветляются, сам заносит к нам несколько райских песен — песен о высокой бескорыстной любви и о высоком блаженстве созерцания. Да, есть не только громокипящий Пушкин, а еще и Пушкин коленапреклоненный. А где-то между ними — Пушкин замолчавший (как народ в финале «Бориса Годунова») и глубоко задумавшийся, как Вальсингам.

Способность к любви глубокой, истинной и бескорыстной, поворачивает Пушкина от деятельности к созерцанию, от героических порывов — к тишине, к отрешенности. «Вначале была буря, а потом тишина. И в тишине — Бог».

Эту тишину Пушкин видел в себе, как издали видят горные вершины. Такая тишина вовсе не была его тишиной, но она была тем, что он любил больше всего на свете, тем, что останавливало и пересекало вихри его страстей, тем, что его наполняло и преображало, пусть на миг. Он умел благоговеть богомольно перед Святыней красоты. Он знал, что красота священна, — иными словами, что дана она не для услаждения нашего, а для преображения. И он доходит до таких затиханий, до такого смирения, до такой просветленности в любви своей!..

Я вас любил, любовь еще, быть может,  
 В душе моей угасла не совсем.  
 Но пусть она вас больше не тревожит.  
 Я не хочу печалить вас ничем.  
 Я вас любил безмолвно, безнадежно,  
 То робостью, то ревностью томим.  
 Я вас любил так искренно, так нежно,  
 Как дай вам Бог любимой быть другим!<sup>24</sup>

Кто это говорит? Не сам ли ангел? Нет, не ангел; но тот, кто может так любить, уже не способен погибнуть. Преображение в нем уже началось... Может быть, в мире нет более редкого чуда, чем преображение. А в пушкинском мире даже косматая душа Гирея затихла и затрепетала перед святыней красоты. И пусть она еще осталась косматой, но движение от зверя к человеку началось, и началось оно с благоговения перед красотой. «Мир красота спасет...».

Самая любимая героиня Пушкина — Татьяна. Кто-то из друзей сказал о Пушкине, что по-настоящему он любил только одну женщину — свою Музу. Но Татьяна и была, может быть, его Музой.

Пушкин всегда рад отметить разность между Онегиным и собой. Пушкин не Онегин. Пушкин поэт, и Музе своей верен всегда. Это Онегин ее не замечал, ею пренебрег, не Пушкин. Онегин сперва проглядел Татьяну

и только в конце проснулся. Впрочем, ведь проснулся, ведь полюбил — и как! Его письма к Татьяне неотделимы от авторских чувств. Пушкин теперь уже не подчеркивает разность, он уже, кажется, забыл о ней, все смешалось в любви к Татьяне.

Так что же, дело только в капризе судьбы, в случайном временном расхождении путей, в том, что поздно, что судьба Татьяны уже решена? (А могла бы не решиться, решиться иначе).

Нет, дело совсем в ином: как ни бесконечно сильна онегинская страсть, это все-таки страсть. **Не бескорыстная, не преображенная страсть.** Отповедь Татьяны может казаться даже несправедливой:

Зачем же ныне  
Меня преследуете вы?  
Зачем у вас я на примете?  
Не потому ль, что в высшем свете  
Теперь являться я должна,  
Что я богата и знатна,  
Что муж в сраженьях изувечен,  
Что нас за то ласкает двор.  
Не потому ль, что мой позор  
Теперь бы всеми был замечен  
И мог бы в обществе принести  
Вам соблазнительную честь?<sup>25</sup>

Да полно, неужели она это всерьез? Неужели не видит, что перед нею умирающий от любви человек, что она — его единственная надежда на спасение, на возрождение; что только в любви к ней душа его избавляется от мертвящего холода, от пустоты, от невозможности жить? Неужели не видит? Видит. И все-таки скажет: «Как с вашим сердцем и умом быть чувств мелкого рабом?»<sup>26</sup>

Мелкого?! Да.

Герцензон, сравнивая пушкинского демона из стихотворения «Ангел» и Демона Лермонтова, который из этого стихотворения вырос, замечает разницу, на мой взгляд, великую: пушкинский демон ничего не хочет от ангела. В самом бытии ангела уже заключено все. Здесь ни прибавить, ни убавить. Ангел — совершенство. Ничего больше не должно совершаться — все уже совершилось.

Душа ангела, его спасительная красота, его свет вовсе не принадлежат только ангелу. Этот свет светит через ангела — всем, кто его видит. И если демон увидел этот свет и полюбил его, небесный свет может стать и его светом. Тогда не будет больше демона. Будет второй ангел. Наступит преображение. Наступит ли оно у пушкинского демона, — кто знает... Но искра Божия запала в него. И он ни о чем не просит ангела, тем более ничего не требует. Он знает, что спасение зависит от него самого. Сможет он или нет воспринять ангельский свет так, чтобы тот вытеснил, изгнал его черноту, — неизвестно. Но он смиренно знает, что грешен, а ангел — совершенство, и не зовет ангела разделить с ним ад, не просит принадлежать ему.

Если бы Сальери отнесся к Моцарту так, как этот демон к ангелу!... Дар Моцарта также не принадлежит только Моцарту, как ангельский свет — только ангелу. Моцарт явился в мир для того, чтобы тысячи

людей могли спастись. Надо только забыть о том, кто сочинил музыку, а слушать саму музыку — ничью. Высветляющую, спасающую душу музыку. Но Сальери хочет во что бы то ни стало, чтобы музыка принадлежала ему. И вот — нет ни музыки, ни Моцарта, ни Сальери (ибо что такое Сальери-убийца).

Лермонтовскому Демону тоже надо, чтобы Тамара принадлежала ему. Значит, надежды на спасение нет. Ибо присвоив себе ангела, не получишь его света. Преображение не состоится.

Преображение приходит через смирение и отрешенность. Нет меня. — Есть Ты. Тогда это «Ты» становится «Я». И тогда возможна любая форма союза. Этот союз будет безгрешным.

Онегин, который страстно любит Татьяну и никоим образом не собирается губить ее, все же близок лермонтовскому Демону. Опустошенную, лишённую жизни душу посетила любовь. Он снова жив. Он страдает. Он горит. Он даже поэтом стал.

Но... может быть, ему следовало бы сказать, вместо всех писем, только одно:

Ты не напрасно мне сиял<sup>27</sup> (сияла).

И только. Не напрасно сиял. Значит, частица твоего света стала моей. И кто знает, может быть, когда-нибудь я стану подобным тебе.

Татьяна — это постоянно живое сердце, душевная полнота, умение любить. Деревенская девочка или княгиня — она никогда не была опустошенной. В ней как бы бьет постоянный внутренний ключ. Почему Онегин не заметил этого раньше? Что переменилось? Внешне — очень много. Он увидел в Татьяне силу. Беззащитная девочка превратилась в царственную женщину... То, что надо было угадывать сердцем, стало явным.

У Татьяны есть все основания полагать, что самого глубокого в ней он не любит и сейчас так же, как не любил тогда. Так это или не так, мы не знаем, но ведь сказал же он той девочке: «Я сколько ни любил бы Вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Ну, а теперь, так ли уж он уверен, что не разлюбит? Страсть налетела, страсть улетит. Точно ли он переменялся весь? Стало ли это сердце таким же глубоким и не опустошаемым, как сердце Татьяны?

Ну, а если... Если все-таки это чувство действительно небывалое в его жизни, — что тогда? Тогда надо быть достойным его, надо и поступить каким-то небывалым до сих пор образом... Каким же? Не домогаться Татьяны, а любить ее, как «рыцарь бедный» свою Даму... Действительно небывалой любовью. Любовью, которая не ищет удовлетворения, ничего не хочет, — только служить. Любовью, для которой само существование Дамы (недостигаемо высокой, божественной) — вся награда.

Такой любовью... Но ведь для этого надо быть не Онегиным. Онегин и такая любовь?! Онегин привык удовлетворять свои желания, пока они не иссякли. (Вплоть до желания жить). И вдруг — небывалое желание, великая страсть. И вот опять во что бы то ни стало он хочет удовлетворить это великое желание. Опять удовлетворить? И только? Но тогда он остался прежним: с сердцем, которое то вспыхивает, то гаснет, то живо, то мертво — игральнице страстей. И опять после удовлетворения желаний придет пустота, которая страшна как, ад... Нет, не

удовлетворение страстей ему нужно, а преобразования души. А его не может быть без отрешенности.

Отрешенность — не отказ от жизни. Просто умение поставить себя, всю свою жизнь на второе место. Понять, что ты со всеми своими страстями — не самое главное. Есть нечто Высшее. Это органическое внутреннее чувство Высшего, никем не навязанное, приходящее от совершенной полноты и чистоты сердца, — и есть основа религиозного чувства.

Человек становится религиозным не тогда, когда усваивает те или иные убеждения, а когда в груди его жжется **святыня**. Когда он чувствует, что может и жить, и умереть с равным блаженством, не для себя, а для неё, во имя неё — **святыни** своей. Иметь **святыню**, благоговеть перед ней богомольно и ничего не хотеть от этой святыни — кроме одного, чтобы она была. Вот что такое религиозная душа.

Мы ничего не знаем (то, что знаем, — общие места, то есть ничто) об убеждениях Татьяны. Но по сути своей Татьяна глубоко религиозна.

А Онегин? Онегин — атеист. Но уточним значение этого термина. Речь опять идет не об убежденности разума, что Бога нет. Речь идет о сердце, лишенном Бога, лишенном жизни, лишенном любви. Временную богооставленность знают и религиозные сердца. У Пушкина периоды богомольного поклонения святыне не раз сменялись полосами богооставленности.

В глуши, во мраке заточенья  
Тянулись тихо дни мои —  
Без божества, без вдохновенья,  
Без слез, без жизни, без любви...<sup>28</sup>

За этими строками, однако, следовали другие: «душе настало пробужденье...». Онегин же «вдохновенье презирал»:

Не верил он любви, свободе,  
На жизнь насмешливо глядел  
И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел.<sup>29</sup>

Эти слова Пушкин относит к своему Демону. Но они вполне подходят к Онегину.

Вот что такое атеизм — без-божие, без-жизненность — «без вдохновенья, ... без любви...».

Онегин — атеист, но атеист затосковавший; атеист, находящийся в глубоком кризисе, почувствовавший, что атеизмом жить нельзя. И, наконец, атеизм свой исчерпавший и поклонившийся тому, что раньше отрицал. Атеист, более всего на свете ценивший свою свободу, стал рабом любви... Что ему с этой любовью делать? Спасение это или гибель? Сердце его уже не пусто. Оно наполнено. Переполнено. И это невыносимо больно. Так что же — просить, чтобы его избавили от страданий или... суметь это страдание вынести?

Пушкин оставляет героя своего «в минуту злую для него»,<sup>30</sup> как бы прервав на полуфразе роман, — все тем же открытым вопросом, его любимым приемом. Вопрос закроется только после великой духовной работы в душе читателя, той самой работы, которая должна была бы произойти

## ТРОЕ В ОДНОМ ЛИЦЕ

А в самом Пушкине произошла эта работа? А он, умеющий так благоговейно любить свою Музу, он дорос до преображения? Или он все еще играл лице страстей? И душа его то полна, то пуста и вкушает хладный сон; то исполнена восторга и любви, то живет без божества, без вдохновенья? Прилив, отлив. Одна волна сменяет другую. Да полно, неужели в жизни нет никакого духовного закона, который душа должна постичь, неужели нет внутреннего господина в человеке? «Кто место в небе ей укажет, промолвив: „Здесь остановись?“ Кто сердцу юной девы скажет: люби одно, не изменись!!».<sup>31</sup> Действительно, кто? Извне — никто не имеет права это сказать... Ну, а внутри, внутри? Тоже нет никакого стержня? Того, что глубже и значительнее набегающих и отступающих волн? Вот Того, чей глас воззвал к пророку, лежавшему как труп в пустыне? Вот Того, кому поют волны свой хвалебный гимн, — тайного автора всей этой спасающей душу красоты?

Если нет внутреннего закона и внутреннего господина, остаются одни стихии, которые разрывают душу на части. И есть Пушкин-язычник, служитель стихий. И только. «И всюду страсти роковые и от судеб защиты нет».<sup>32</sup>

Я думаю, что с этого начинался Пушкин, но от этого он уходил все дальше и дальше. Да, начинался Пушкин действительно с язычника, всегда влюбленного, искрометно-шутливого, обаятельно-грешного, а подчас и кощунственного. Молодой Пушкин был вполне в рост окружению, восторженно принимавшему его. Конфликт с публикой начался, когда Пушкин стал вырастать, когда действительно понял, что «любви, надежды, тихой славы недолго нежить нас обман»<sup>33</sup>, что идеалы времени — лишь короткий миг, ступень роста души, — мгновение. И что мгновение это проходит. И — либо надо пройти, исчезнуть вместе с ним, стать прахом, либо двигаться дальше к иному, к Вечности, искать непреходящую твердь, не рассыпающуюся в прах. Пушкин, в отличие от Онегина — поэт. Но и «не поэт» — Онегин — жил в Пушкине. И «какой-то мрачный гений» «на мир насмешливо глядел» и давал чувствовать поэту, что его волшебный мир ограничен, что за ним, за краем его может открыться пустота.

Дар напрасный, дар случайный  
Жизнь, зачем ты мне дана?..<sup>34</sup>

Поэтический мир Ленского не выдерживает холодного онегинского взгляда. Он сжимается под этим взглядом, умалется, выцветает... А, может быть, начинает видеться в свою истинную величину, какой он есть без романтической дымки, без юношеского задора, без очарования возраста... Он мелок, этот поэтический мир, и Онегин заставляет увидеть это. Ленскому рядом с Онегиным не ужиться. Он убьет его, если не пулей, то

своей иронией. Если же они — поэт и Онегин — встречаются в одной душе, завязывается борьба не на жизнь, а на смерть. И либо поэт погибнет, либо вырастет, станет недостижимым для убийственных стрел иронии и, наконец, заставит самого Онегина стать поэтом. К чему и приводит Пушкин своего героя в конце романа. Приводит — и оставляет «в минуту злую для него...». Эта минута была минутой выбора, но уже не между поэтом и не поэтом (тот выбор уже сделан), а между поэтами — языческим и христианским.

(Я пользуюсь терминами, которые всегда условны. Но они емки. И я хочу пояснить, что в них вкладываю. Речь идет о способе чувствовать мир, о мере наполнения сердца).

Поэт всегда влюблен в мир, но может любить его по-разному. Под языческим поэтом я разумею человека, влюбленного в осязаемый земной мир и добивающегося от него взаимности. Земную возлюбленную надо сделать своей. Обладание — венец любви. А христианский поэт не удовлетворяется ничем земным: Он ищет неба. Главное для него происходит на небе, то есть **внутри**. Это вовсе не значит, что он и мечты его бесплотны, что ему не нужно соединения с предметом любви своей. Дело все в акцентах, в перемещении центров тяжести. Соединение для такого поэта происходит прежде всего в духе. Поэтому любовь важнее самой любимой, ибо она больше неё. Духом, любовью нельзя обладать, как плотью любимой. Дух нельзя уловить и объять. Он внутри. Он — нечто высшее, что не может целиком уместиться в любящего, до чего надо дорастать, вырастать из себя, тянуться вверх. (Даже если влюбленные вполне равны друг другу, встреча, соединение все равно происходит в Высшем — в Любви, до которой обоим надо каждый раз, каждый миг снова дорастать).

Другими словами, если языческий поэт живет в мире предметов, вещей, находящихся с ним на одном уровне, то поэт христианский находится в мире Духа, который неощутим, которого нельзя взять в руки и к которому надо постоянно идти, восходить или углубляться, продвигаясь с поверхности в глубину и высоту, в иное измерение, — на другой уровень.

Языческий поэт любит человека, который весь перед глазами. А христианский поэт любит в человеке его невидимого Творца, сокрытого, неисчерпаемого, невыявленного; любимый — не идол, а икона.

Языческий поэт всегда смотрит на предмет своей любви, обожествляя этот предмет. Христианский смотрит с поверхности **внутрь**, с земли на небо. Внутрь и вверх, но всегда на другой уровень. Любовь есть путь на другой уровень бытия. И проделать этот путь бесконечно важнее, чем добиться ответной любви, важнее, чем любая победа, оставляющая человека на его прежнем уровне, так сказать — на земле.

Для языческого поэта нет ничего прекраснее земли. Для христианского поэта земля остается такой же прекрасной, но у него есть ещё и небо, то есть некая Высота, некий новый простор — другое измерение — измерение Вечности. У языческого поэта, есть лишь бесконечно-разнообразная горизонталь. У христианского есть ещё и вертикаль, встреча с которой дает ощущение — другой, не количественной, а качественной

бесконечности.

Вот перед каким выбором оставил Пушкин Онегина «в минуту злую для него» — и, может быть, не совсем ожидаемую для самого Пушкина.

Да, до поры до времени в Пушкине жили и тот, и другой: на вершине — рыцарь бедный, который, «сгорев душою», то есть отдав всю свою душу Высшему Образу, «на женщин не смотрел и до гроба ни с одною молвить слова не хотел».<sup>35</sup>

А рядом — Дон Гуан, который смотрит, кажется, на всех женщин мира и не сгорает душою, а сжигает их души, чтобы поддержать в себе жар жизни, поминутно готовый погаснуть.

Рыцарю не нужно ничем внешним поддерживать душевный мир. Божественный свет приходит к нему изнутри, постоянно поддерживая пламя. Ни от каких капризов судьбы оно не зависит. Жизненное оскудение, охлаждение, окаменение ему не грозит. Гуану же это грозит постоянно. Поэтому он и стал хищником, глотающим других, чтобы выжить самому. Хищником? Но ведь Гуан так поэтичен! Да, жертвы сами бросаются к нему в объятия. Пусть миг — но какая полнота жизни! Разве Клеопатра вынуждала своих воздыхателей всходить на её смертоносное ложе? Сами рвались! И все-таки за плечами царицы, за царственной красотой её стоит безобразный скелет. А за плечами Дон Гуана — каменная статуя. До поры до времени она не видна ему. И можно делать все, что угодно. Но придет момент, и он должен будет столкнуться с Командором лицом к лицу. Когда? Когда почувствует, что ему самому грозит окаменение, что каменный гость изнутри преграждает его дыхание. Каменная преграда. Все та же заветная черта, пересекающая накатанную, казавшуюся бесконечной дорогу. Дороги больше нет. Есть перекресток. Либо вечная жизнь, либо вечный камень.

Да ведь он всю жизнь только и делал, что убегал от окаменения, от душевного хлада, «хладного сна». Он только и делал, что ускользал от Командора, наставлял ему рога, высовывал язык. Казалось, в этом обаятельном дерзком поединке и пройдет вся жизнь. И вдруг — черта. Он больше не может двинуться. Он больше не может быть Гуаном. Он сам — статуя.

Окаменение наступает тогда, когда исчерпываются возможности Гуана, казавшиеся неисчерпаемыми. В сердце постучалось что-то иное, что-то неведомое, что-то бесконечно более глубокое, чем все, что было прежде: Донна Анна. Женщина в ряду прочих женщин? Нет... Откуда это известно, что нет? — Такой полноты жизни Гуан ещё не чувствовал никогда. И именно теперь-то он и не может жить. Ему точно не хватает дыхания. Весь прежний, весь обаятельный, легкий, искрометный Гуан теперь неуместен, невозможен, ненужен... Быть прежним сейчас — кощунство. (Наконец-то пришло чувство кощунства!...) Нужно быть иным... Каким же? — «Рыцарем бедным»...

Только рыцарю бедному здесь место... Но Гуан уже не может быть Гуаном и ещё не может быть рыцарем бедным. Нужно какое-то великое душевное усилие, особое усилие, то, которым берется Царство Небесное. Но способен ли он на него? Как это так вдруг —

преобразиться?..

И вот тут-то и приходит Командор. Вот тут-то и раздается великое «или-или» — весть о несовместимости. Если ты не выберешь сейчас, если не сможешь стать «рыцарем бедным», ты окаменеешь. Дон Гуан, казавшийся вечным бессмертным поэтом, — всего лишь мотылек. Всего лишь миг. Промежуточное, временное состояние. И оно пройдёт...

Сам Пушкин — и Дон Гуан, и “рыцарь бедный“, и некто третий — тот каменный, тот «хладный». Онегин? Командор?

Может быть, и Командор когда-то был таким же Дон Гуаном? Кто знает...

Если это так, что же ты теперь так гневаешься на Дон Гуана, Командор? И что же ты, Дон Гуан, так поражен встречей с владычным камнем? Ты ведь носил его в себе, носил всегда, только не хотел замечать этого. И вот заметил. И вот — зажат каменной десницей.

Ещё старый цыган говорил Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли...».<sup>36</sup>

Угроза превращения вольнолюбца в тирана всегда созерцалась Пушкиным. Всегда его сердце было зорким и справедливым. Всегда он чувствовал, что то, с чем так рьяно борются люди в других, есть прежде всего в них самих, и надо бы остановиться и направить взгляд внутрь, — и меч внутрь...

Эта готовность к самоосуждению вместо осуждения всего и всех вокруг, это глубинное чувство, что главный враг приютился внутри, — а совсем не вовне, — делают духовное зрение Пушкина удивительно ясным. С беспощадной ясностью этой он созерцает ещё не сложившуюся в гармоническое единство природу свою.

Все трое были в Пушкине: и Дон Гуан, и Командор, и «рыцарь бедный»... Два поэта (разных уровней) и тот каменный: окаменение сердца, малодушное погружение во внешнее, хладный сон. Другими словами — не поэт, а тот, которым он бывает, когда его не требует Аполлон.

Командора привычно воспринимают как карающую Божью руку. Но у Пушкина рука эта действует не во внешнем, а во внутреннем пространстве. Командор является как бы другой стороной самого Дон Гуана. Он грозит Гуану изнутри него самого. Если Гуан не преобразится, он превратится в камень...

Дон Гуан не может мимоходом насладиться Донной Анной, как всеми предыдущими. Ему захотелось навсегда остаться с одной Донной Анной. Ему захотелось, чтобы время остановилось. Остановить время может либо смерть — окаменение, либо духовная вертикаль, пересекающая горизонталь часов и дней — выход вглубь и ввысь, выход, открывающий измерение вечности.

Поэзия всегда доносит запах Вечности, как ветер — запах моря. Истинный поэт — тот, кто находит море Вечности по едва уловимым дуновениям. Ветер из Вечности... Дух Вечности. Он только налетал в сердце Дон Гуана — и оставлял его. Может быть, он звал его сюда, к этому перекрестку... К своему пределу... Командор есть предел Дон Гуана. И здесь, у предела, — выбор...

Своими «вещими зеницами»<sup>37</sup> Пушкин видел, что спасение мира только в преображении человека. И никакая внешняя задача не заменит и не отменит задачи внутренней. К этому он подводит почти всех своих

главных героев.

Сколько бы дел ни искал себе Онегин, как бы ни завидовал паралитику или ревматiku, — всем, кто чем-то занят, чем-то отвлечен, освобожден от своей внутренней задачи, — ему от этой задачи не освободиться. Ничто не оживит его, пока он не научится любить. На страницы романа он вступает с одним достоинством: зорким, ясным зрением. И эта ясность ничем не затуманенного взгляда была залогом. обещанием чего-то большего, признаком крупности, избранности души его.

«Когда бы все так чувствовали силу гармонии...»<sup>38</sup> Когда бы все так чувствовали Моцарта, как Сальери!.. Когда бы все могли так видеть, что такое Татьяна, как Онегин!..

Вообрази, я здесь одна.  
Никто меня не понимает.  
Рассудок мой изнемогает,  
И молча гибнуть я должна!<sup>39</sup>

Да ведь это серьезно, очень серьезно.

Она в семье своей родной  
Казалась девочкой чужой...<sup>40</sup>

И погибала. И вдруг — «Чуть ты вошел, я вмиг узнала!»<sup>41</sup>

Это не романтические бредни. Она узнала того, кто может её понять, почувствовать, в чьей душе есть способность вместить всю её душу. Ни в ком такой способности не было. А в Онегине была. Потому-то и избрала его Татьяна. И всей своей любовью призвала его к его истинной задаче. Призвала. Она была его призыванием. И ему нельзя было бежать от своего призвания. Он же пытался бежать, как пророк Иона. И как пророк Иона — в черное чрево кита, попал в объятия непроглядной тоски.

И вдруг — переворот, ошеломительный, головокружительный поворот в другую сторону: наконец-то он не только видит, он влюблен! Не этого ли ждала Татьяна? Нет, не этого... Этого ещё мало. Мало влюбленности. Надо научиться любить. А это — совсем другое. Любить — значит принять на себя огромную ответственность вынести страдание, платить по всем счетам, и оплатить все грехи сердца. (Самая большая любовь оплатила все грехи мира... Там, на кресте...).

Онегин — одна из ипостасей Пушкина. И не так просто с ним разделаться. Не так просто извергнуть его вовне... «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной...». Да, да, слава Богу, в Пушкине был не только Онегин. В этом — духовное спасение Пушкина. И возможность духовного спасения Онегина — его выход в Пушкина. Пушкин — Онегин, который не бежал от своего призвания. Онегин, который стал не только поэтом, но поэтом высшим — пророком.

Однако Пушкин увидел Онегина не только внутри себя, но и вовне. Внутри себя Пушкин преображал Онегина. А вовне, а рядом царил герой времени, властитель дум — разочарованный атеист,

объевшийся прелестями жизни и тоскующий от неумения любить.

Пушкин увидел его и дал ему альтернативу: стать героем Вечности.

Этим героем Вечности был поэт, Муза которого — Татьяна. Пушкин увидел неизбежность выбора: либо герой Времени должен найти Бога в душе и стать пророком великого Бога-Творца, либо...

Может быть, пушкинская жизнь оборвалась на этом «либо», на этом открытом вопросе и многоточии... А после многоточия стал продолжаться Достоевский.

Да. Либо поэт, Пророк великого Бога-Творца, благословляющий жизнь и обливающий землю слезами, либо атеист, не знающий над собой ничего Высшего, ни перед чем не преклоняющийся, не влюбленный, не любящий, а только наслаждающийся миром, как своим владением.

Так от Евгения Онегина мы пришли к Николаю Ставрогину. Достоевский привел нас к нему и показал: здесь тупик. Здесь петля. Вот что случается с человеком, который не верен своему призванию, который изменил идеалу Мадонны. Кто отказался от великого религиозного подвига, от подвига любви. Любви к красоте, которая мир спасет.

У Ставрогина была сила. И если бы он не присвоил её себе, а отдал Богу, он стал бы тем самым светлым князем, которым видела его юродивая прозорливица Хромоножка. Но... «сокол филином стал».<sup>42</sup> Он — вор. Он все Божье присвоил, украл. Он самозванец. И вот понеслось ему вслед: «Гришка Отрепьев ан-а-фе-ма!»<sup>43</sup>

Не так ли бедная помешанная Мария Кочубей видит, наконец, душу Мазепы:

Я принимала за другого  
Тебя, старик. Оставь меня.  
Твой взор насмешлив и ужасен.  
Ты безобразен. Он прекрасен.  
В его глазах блестит любовь,  
В его речах такая нега,  
Его усы белее снега,  
А на твоих засохла кровь...<sup>44</sup>

Красота может спасти душу, если человек дает ей место внутри себя, причащается Ей (и через неё — Святому Духу). Красота может погубить душу, если человек упорствует в желании обладать ею. Человек, пожелавший обладать небом, построил Вавилонскую башню. И мир раздробился на мириады осколков. Человек, пожелавший причаститься небесной Красоте, видит во всех осколках один и тот же свет и собирает их в единое целое.

Ставрогин видел вешнюю духовную красоту так же, как Онегин видел Татьяну. Он чувствовал, понимал её. Если бы он ей ответил, если бы не бежал от своего призвания! Но... он наслаждался то добром, то злом. Он испробовал себя и в том, и в другом — и погас. Опыт зла иссушил источники духовного гения, возможности которого в нем жили. Злодей не смог стать светлым князем. Он иссяк.

Этот герой времени, этот Онегин, вставший с колен, не видящий над собой ничего Высшего, потерявший всякую святую, был совершенно луст от жизни. Он дошел до черты, за которой совмещение добра и зла оказывается невозможным.

Эту черту показал Достоевский.

Но провидел её первым Пушкин. Он угадал, что Сальери не сумеет жить без лучшей части своей души, — без Моцарта, без Бога. Как бы ни пытался он жить без жизни, это ему не удастся...

— А гений и злодейство — две вещи несовместные.

— Ты думаешь?<sup>45</sup>

Ставрогин — это Сальери после убийства, Сальери, проверяющий бездоказательное утверждение Моцарта. Это — следующий акт «Моцарта и Сальери».

## Глава 6

### «ЕСТЬ ВЫСШИЙ СУДИЯ»

Потрясенный смертью Пушкина Лермонтов взывал к Божьему правосудию. Но сам Пушкин не просил об отмщении. «Нет, нет, мир, мир!» — сказал он.

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,  
Что выразалось на нем, — в жизни такого  
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья  
Пламень на нем; не сиял острый ум.  
Нет; Но какой-то мыслью глубокой, высокою мыслью  
Было объято оно: мнилось мне, что ему  
В этот миг предстояло как будто какое виденье,  
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что  
видишь?<sup>46</sup>

И правда, кажется, что Пушкин в смерти своей досматривал что-то, что не совсем досмотрел в жизни. Их было трое в одном лице, потом двое. — И вот остался один. Тот высочайший и глубочайший. И бесконечно тихий. Наконец, пришла Тишина, которой так не хватало душе. Полная тишина.

Может быть, смерть пришла потому, что он так и не успел дойти в жизни до этой *полноты*, до этого тихого единого лика.

По поводу пушкинской судьбы, пушкинской дуэли сказано бесконечно много. Я не хочу сейчас разбираться во всех точках зрения. Для меня нет вопроса о выборе между Пушкиным и светской чернью. Пушкин настолько же правее и выше всех тех, кто его травил и, наконец, убил, насколько Бог правее и выше самого Пушкина.

Пушкин перед лицом света — в терновом венце. Но Пушкин перед лицом Бога...

А именно этот вопрос меня занимает прежде всего...

Однако, имею ли я право задаваться вопросом? Отношения Пушкина с Богом — это дело Пушкина и Бога, и ничье больше.

Да, конечно. Если бы отношения Пушкина с Богом не были бы какими собственными отношениями с Богом, — с моей собственной глубиной и высотой.

Как-то так выходит, что если Пушкин себе все позволит и все простит, то и я, читатель, себе могу все позволить и все простить. Если же Пушкин не позволит и не простит, то и мне, читателю, никуда не деться от предельного спроса с себя.

Я не навязываю Пушкину мою, внешнюю, чуждую ему высоту. «Рыцарь бедный» — им увиден, это его высота. Идеал Мадонны — это его собственный, а не чуждый ему идеал. Тот самый, о котором было сказано: «Цель поэзии — не нравоучение, а идеал».<sup>47</sup>

И самое великое, что Пушкин нам оставил, — это свой идеал и обязательность верности ему. Он даже предупредил нас, что измена идеалу в конечном итоге губительна. Об этом было ему откровение.

Но разве он изменял идеалу? В поэзии зрелых лет — никогда. Чем больше жил, тем яснее видел идеал этот, тем больше любил, тем ревностнее служил. И Поэзия его осталась неизменной. И будет жить, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».<sup>48</sup>

А в жизни... Нет, в жизни идеал этот недоволопнулся. И язык его бывал празднословным и лукавым, и сердце не всегда бывало углем, пылающим огнем... Так он сам пишет. Он часто бывал глубоко недоволен собой.

Никто не вправе указывать Пушкину — кроме него самого. Кроме его собственного идеала. Не мы дали идеал тот Пушкину. Он дал его нам. И вот идеал этот судит его.

Трепетное сердце Пушкина, то человеческое сердце, трепетавшее от обид, от боли, от ревности — не превратилось до конца в огненный уголь.

Мы должны видеть это сердце таким, каким оно было. Видеть. И только. А не выдумывать. Глаза должны быть ясными.

Совершенством Пушкин не был. Но завещал нам совершенство. Завещал свой Идеал, свой гений чистой красоты. И если мы возьмем за образец всю пеструю жизнь Пушкина, мы изменим его идеалу, которому никогда он не был верен так полно, как в предсмертные часы.

Смерть подстерегла его не только извне, но изнутри. Ибо «рыцарем бедным» он еще не стал, а Дон Гуаном быть уже не мог. (Интересная закономерность. Дон Гуаны всегда побеждают на поединках. Точно черт помогает своему лихому, не дорожающему жизнью ученику. Вот стоит Дон Гуану дрогнуть, поколебаться в своей беспечной верности дьяволу, — тут ему и конец)...

И, может быть, готовность принять поражение является первым шагом к победе на другом уровне.

Можно тысячу раз разбирать все факты, предшествующие дуэли Пушкина, и все, что было потом. Но от того, что в Пушкине жило два человека, никуда не уйдешь. Первый

Пушкин, попав в Дантеса, кричит «Браво!», хочет продолжать дуэль до кровавого конца; второй Пушкин, в ответ на предложение Данзаса вызвать Дантеса, отвечает: “Нет! Нет! Мир! Мир!..”

Истинное величие Пушкина было не в том, что он праведно жил в последние годы, и не в том, что он все делал «как люди» и «как надо», а в том, что понял и принял сверхразумную правду о несовместимости «рыцаря бедного» и Дон Гуана в одной душе. Умирая по-христиански, он не просил ни нашего мщенья, ни нашей защиты. Он хотел, чтобы и мы поняли то, что открылось ему в предельной глубине, чтобы мы поняли и приняли его откровение: истинная высота бескомпромиссна. Есть два полюса в нашем духовном мире, две вещи несовместные... И та непостижимая черта, которая является вдруг в пушкинских шедеврах, перечеркивая весь ход земных событий, есть молния из горнего мира.

## Глава 7

### СОБСТВЕННИК И МОТ

Нигде эта черта не проведена так четко, нигде она не достигает такое простоты и ясности, как в «Моцарте и Сальери». Там и родилась эта заповедь: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Два героя трагедии в чем-то бесконечно близки друг другу. И в чем-то полярно противоположны. Это такие же два брата по духу, как Авель и Каин — по крови. «Когда бы все так чувствовали силу гармонии...»<sup>49</sup>

К Сальери первому идет Моцарт с самыми глубокими своими созданиями. Через Моцарта всем людям, и в первую очередь Сальери, предлагается хлеб духовный. Только возьми — и будешь причастен высшей жизни...

Но причастие невозможно для Сальери. Он хочет не причаститься, а отделиться — и владеть. Обладать. Он — **собственник**. Он скупец. Он брат не только Моцарту, но и скупому рыцарю. И так же как и тот, прежде всего хочет оборонить свою собственность, огородить ото всех других. Скупой рыцарь думает о своем ненавистном наследнике (родном сыне) примерно так же, как и Сальери о Моцарте:

Послушна мне, сильная моя держава.  
В ней счастье, в ней часть моя и слава!  
Я царствую... но кто вослед за мной  
Приемлет власть над нею? Мой наследник!  
Безумец, расточитель молодой,  
Развратников разгульный собеседник!  
Едва умру, он, он! Сойдет сюда  
Под эти мирные немые своды  
С толпой ласкателей, придворных жадных.  
Украл ключи у трупа моего,

Он сундуки со смехом отопрет  
И потекут сокровища мои  
В атласные дырявые карманы.  
Он разобьет священные сосуды.  
Он грязь елеем царским напоит —  
Он расточит!.. А по какому праву?\*

Мне разве даром это все досталось  
Или шутя, как игроку, который  
Гремит костями да груды загребает?  
Кто знает, сколько горьких воздержаний,  
Обузанных страстей, тяжелых дум,  
Дневных забот, ночей бессонных мне  
Все это стоило?<sup>50</sup>

А вот монолог Сальери:

Все говорят: нет правды на земле.  
Но правды нет и выше. Для меня  
Так это ясно, как простая гамма.

Отверг я рано праздные забавы:  
Науки, чуждые музыке, были  
Постылы мне; упрямо и надменно  
От них отрекся я и предался  
Одной музыке. Труден первый шаг  
И скучен первый путь. Преодолею  
Я ранние невзгоды. Ремесло  
Поставил я подножием искусству;  
Я сделался ремесленник: перстам  
Придал послушную сухую беглость  
И верность уху. Звуки умертвив,  
Музыку я разъял как труп. Проверил  
Я алгеброй гармонию. Тогда  
Уже дерзнул, в науке искушенный,  
Предаться неге творческой мечты.  
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,  
Ещё не смея помышлять о славе.  
Нередко просидев в безмолвной келье  
Два, три дня, позабыв и сон, и пищу,  
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,  
Я жег мой труд...<sup>51</sup>

Как не посочувствовать ему? Как не признать, что у него есть заслуги перед Музыкой, перед Богом, наконец? Разумеется, они у него есть. С точки зрения человеческого рассудка, он ведь прав, пожалуй.

О, небо!  
Где ж правота, когда священный дар,  
Когда бессмертный гений — не в награду

---

\* Выделено мной. — З.М.

Любви горящей, самоотверженья,  
Трудов, усердия, молений послан —  
А озаряет голову безумца,  
Гуляки праздного? <sup>52</sup>

Так вот в чем дело... «Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульный собеседник...»

Надо сказать, что Пушкин очень добросовестно дал слово и тому, и другому «правдолюбцу». Они действительно очень много потрудились. Один, чтобы приобрести свои деньги, другой — свою славу.

Но кто дал право им считать и то, и другое «своим»? Кто дал право присваивать?

«Гуляка праздный» и «расточитель молодой» не трудятся, но они ничего и не присваивают. Вот если бы правдолюбцы потрудились не для себя (для власти один, для славы другой), а для Бога, — если бы они служили не себе, а Богу, — тогда их труд был бы Богу угоден, как угоден труд самого Пушкина. Он, кстати, немало трудился над своими творениями. Говорят, что стиль работы его был ближе к Сальери, чем к Моцарту. Не знаю. Думаю, что могло быть и так, и этак. Но чего в Пушкине не было никогда, так это *присваиванья* себе Божьего дара. Вот где Пушкин чист, как Моцарт! И это *главное!*

Пушкин гордо отталкивает людей, отвлекающих от Бога, чернь, но никогда не гордится перед Богом:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
Иди, куда влечет тебя свободный ум,  
Усовершенствуя плоды любимых дум,  
Не требуя наград за подвиг благородный.  
Они в самом тебе. <sup>53</sup>

«Ищите Царствия Божия и это все приложится вам» (Лука, 12:32). Иными словами: не оставляйте Бога. Остальное приложится. «Правдолюбцы» же искали именно остального — и оставляли Бога. Поэтому и Он не мог не оставить их...

Для Сальери дар — это то, что поднимает над обыкновенными людьми (его, его самого). Дело не только в том, что невежды мешают сосредоточиться на главном, на внутреннем, лишают творческой тишины. Нет, Сальери именно нужно само чувство дистанции, нужен пьедестал. Без него было бы неуютно.

Дар Моцарта безграничен, и для хорошего самочувствия в мире ему совершенно не нужно отделять себя от кого бы то ни было. Он бесконечно щедр, его хватит на весь мир. Все, на что падает его взгляд, освящается, — как бы обретает частицу его души. Духовное мотовство Моцарта возмущает Сальери. Скупец негодует: почему для блудного сына Отец закалывает упитанного тельца, а для своего неотлучного праведника пожалел и козленка. Да потому, что духовное мотовство Отцу небесному по сердцу. Моцарт ничего не прячет для себя. Он только пронесит через себя дары Отца и отдает первому встречному. Они — не его, эти дары. «Какие заслуги? Ничего моего нет, все от Бога!» Он ни с кем не мерится, ни с кем не сравнивается. Ему все равно, «чья»

музыка. Ему важна Сама Музыка. Эта музыка принадлежит Сальери так же, как и ему. Он, Моцарт, ведь только воспринимает всей душой то, что ему дает Бог. Но ведь и Сальери тоже может воспринимать, да еще как! «Когда бы все так чувствовали силу гармонии...»

Вот где настоящий дар Сальери — умение чувствовать. Ведь Моцарт и в себе ценит только это умение чувствовать Божью гармонию. В этой гармонии они с Сальери могут быть едины! Только не надо меряться, не надо сравниваться! Ведь он, Моцарт, — песчинка в сравнении с Богом, но в любви к гармонии — они *одно*. «Так выпьем за союз, связующий Моцарта и Сальери, — двух сыновей гармонии одной».<sup>54</sup>

Как щедро распахнуто это сердце! Как оно беззащитно! Как оно не хочет защищаться, отгораживаться!..

Он совершенно открыт, потому что чувствует закрытость как духовную смерть. Он предпочитает смерть физическую. И недаром он писал свой Реквием. Там, в глубине души, он все знает. Ну и что ж, что это скрыто от его сознания? Разве сознание творит, а не эта таинственная глубина?

Самая трудная для понимания заповедь блаженства — это «блаженные нищие духом». А ведь вот он, её смысл: Дух нельзя *присвоить*. Ему можно только причаститься. Самый величайший гений, который решит, что гениальность — его собственная заслуга, гениальность эту потеряет. Тот же, кто самым малым даром своим служит Богу, получит ещё и ещё. Сам Бог доверится ему. Это как в притче о талантах...

Моцарт и Пушкин в своей святая святых, в творчестве своем — такие нищие духом. Вот почему им Отец все прощает — даже если они, как блудные дети, и оставляют Его. Они возвращаются к Отцу. И они возвращают Ему все Его. Сальери же совсем оставил Отца. Он живет для себя.

Сальери не согласен «промаывать», делить с кем бы то ни было свой скудный дар. Такой роскоши, как беззащитность, он позволить себе не может. Сальери защищается от Моцарта, от Бога. Защищается, защищает себя, свое. Весь мир для него не неделимое Чудо, как для Моцарта. Он делится на свое и чужое. Убийственная, самоубийственная попытка «сверхчеловека» разделить на части небо. Это в сущности так обыкновенно! Все обыкновенные люди — собственники. И Бога Единого им не надо. Поддай им «своего», их собственного Бога. Им надо то, что они могут объять, охватить, что им по мерке. А если ты под мерку не подходишь, «так улетай же, чем скорей, тем лучше».<sup>55</sup>

И, Бог, ты тоже уходи! Ты не укладываешься в мои человеческие мерки! Зачем мне мериться Твоими? Изволь соответствовать моим!

Так рассуждает очень обыкновенный человек. Не так явно, не так откровенно. Но по сути дела — так. А ведь Сальери — гений. Моцарт не бросается такими словами зря. Он чувствовал музыку Сальери. Он чувствовал в нем гения. Не будем сравнивать с Моцартом. Пусть более скромный, но Дар у него был. Трагедия началась со сравнения и с присвоения, то есть с психологией ординарного человека, не поднявшегося со своего Дара. Иными словами — с попытки человека подчинить себе, присвоить божественное, а не служить ему.

Дар Божий у Сальери был. И это — нечто единое с Моцартом (как едины вода в озере и в океане). То есть (можно сказать и так) Моцарт в нем был. И Сальери убил Моцарта дважды: вовне и внутри самого себя.

— Ты уснешь надолго, Моцарт.<sup>56</sup>

— Но ты уже больше не гений, Сальери, — беззвучно скажет ему Моцарт в нем самом.

Напрасно ты цепляешься за «очевидность». Ты задаешь вопрос: «Так не был убийцею создатель Ватикана?».<sup>57</sup>

Ответа в обозримом пространстве фактов, истории — нет. Ответ — внутри. Ты гений или нет, Сальери, убивший Моцарта? Ты, убивший Бога, от которого весь твой дар? Ты теперь одарит тебя, Сальери? Кто наполнит звуками твою душу?

## Глава 8-

### ЗАПАХ ВЕЧНОСТИ

«Широк, слишком широк человек, я бы сузил», — сказал Митя Карамазов. Первым границы этой широты увидел Пушкин. Он почувствовал ее, широту эту, как бесконечную горизонталь души, еще не пересеченную своей вертикалью — своей высотой и глубиной.

Пушкин открыл для духовного взгляда великую высоту. Он не обжил эту высоту. Но он увидел ее всей любовью своего сердца. И показал нам. Русская литература началась с открытия горных вершин, с откровения о том, что святыня есть, что красота священна.

Она началась с меча серафима, отсекающего от души все нечистое, не вечное, чтобы возвратить человеку первоначальную божественную природу.

Стихотворение «Пророк» кончается удивительно точно:

Как труп в пустыне я лежал  
И Бога глас ко мне воззвал...<sup>58</sup>

Оцепенение, неподвижность. Отказ от прежних форм жизни. Невозможность быть прежним. Но новое — Вечное — существует только как далекий голос, как глас из глубины, с божественной высоты. Пророк слышит этот голос. Он прислушивается только к нему. Там, в глубине, начертаны незыблемые законы, которые здесь, на поверхности, не определены. Меч серафима отсекает то, что душа отдает сама добровольно. Это добровольная жертва всем низшим во имя Высшего. Если бы Высшее не привлекало сердце, не зачаровывало бы его до самозабвения, меч серафима стал бы оружием палача. Но зачарованное сердце само отдается на волю меча, — который есть не что иное, как разящее, жгучее и возрождающее душу слово.

Глаголом жги сердца людей...<sup>59</sup>

Поэтическое Слово... Поэзия... Она вносит лад в душевный хаос и творит космос... Поэзия есть мирообразующее гармоническое

начало, начало, строящее нашу душу, дающее ей высший строй, стройность. Поэзия ведет душу к вершине совершенной гармонии — к совершенному гармонической личности, в которой все противоборствующие силы складываются в незабываемое единство.

Пушкин провидел эту личность издали, еще неясно, сквозь «магический кристалл». Он увидел ее, как «мимолетное виденье». И виденье это никак не равно Анне Петровне Керн. Это то великое и в ней, и в нем самом, что приоткрылось в миг внутреннего озарения. Всего одно «чудное мгновенье». Но его одного оказалось довольно, чтобы узнать, что Высшая Реальность — есть.

До реальности этой был еще «квардильон»<sup>60</sup> верст. Прославленная пушкинская гармония — вовсе не достигнутое равновесие духа, не парение «выше мира и страстей». Скорее точное чувство духовной иерархии, уверенность в том, что Высшая Реальность, которую он только провидел, стоит «квадрильона», стоит пути, служения, жертвы. И куда бы ты ни поспешил... остановись, «благоговей богомольно, перед святыней красоты».<sup>61</sup>

Тайна пушкинской гармонии в том, что у него есть святыня и он умеет служить ей. Этот грешный человек бесконечно любит безгрешную красоту.

И это в нем — главное. Поэт в Пушкине рос. Когда-то он был пылким и мечтательным юношей, еще, может быть, не умеющим отличить божка от божества. Ленский, любовно-иронически описанный Пушкиным, тоже один из прошлых ликов автора, как и Онегин; и так же далек он от автора, как и Онегин. Пушкин гораздо больше их обоих, ибо он все время движется и перерастает то одного, то другого.

Ленский — бессильная мечта о высоком, ослепленность пылкого, но слабого сердца. Онегин — сила и зрелость при полной неспособности воспламениться. «Лед и пламень». Онегин презирает выбор Ленского. Он «выбрал бы другую». Но он никого не выбрал. Он не поэт, и потому его зрячесть бесплодна. Душа в нем бездействует, ибо не любит. Вот когда полюбит... Но тогда кончится этот роман и надо будет начинать другой...

А пока что влюбленный слепец все-таки ближе к Пушкину, чем зрячий, но не способный к любви, живущий в мире «низких истин». И пусть Ленский пишет темно и вяло. И пусть дремлет над модным словом идеал. Он дорог Пушкину. Была такая точка в его душе — Ленский. Он соседства с Онегиным не выдержал. А Пушкин выдержал. И далеко перерос Онегина. Да, поэт рос в нем от Ленского до Пророка, до Царя, который живет один и дорогою свободной идет, куда влечет его свободный ум...

Поэт в Пушкине — вовсе не раз и навсегда данная фигура. Он — живой. Он растет. А значит бесконечно углубляется и крепнет, — движется от обаятельного зрота с трепетными крылышками до шестикрылого серафима.

Поэзия была для Пушкина благодатью. Безблагодатное существование, «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви» — кончается с приходом поэзии. «Душе настало пробужденье...»<sup>62</sup>

Можно ли ставить такой общий знак равенства между Поэзией и благодатью? Ведь поэзия бывает всякой. Марина Цветаева говорила, что в поэзии так же есть свои пауки, как в природе. В ответ на утешения, что она делает божеское дело, Цветаева отвечала: «Если мои вещи отрешают, просвещают, очищают — да, если обольщают — нет, и лучше бы мне камень повесили на шею. А как часто в одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и отрешают и обольщают». <sup>64</sup>

А сам Пушкин разве не знал безблагодатной поэзии? Не служил демонам в «Гаврилиаде»? Не знал прямой богоответственности? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» <sup>65</sup>

Стихотворение А.С.Пушкина «Дар напрасный» вызвало полемический ответ митрополита Московского Филарета:

Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога нам дана,  
Не без воли Бога тайной  
И на казнь осуждена...

И Пушкин смиренно откликнулся:

В часы забав иль праздной скуки  
Бывало, лире я моей  
Вверял изнеженные звуки  
Безумства лени и страстей... <sup>66</sup>

Все это так. Но безблагодатной поэзии противостоит не нравственность, не совесть, не религия, а Поэзия же, и только она. Самая высокая Поэзия благодатна. И поэт, зашедший в тупик, поэт, поющий свою безвдохновенность, замрет перед другим, безмерно большим Поэтом, выводящим из всех тупиков на великий простор.

И внемлет арфе серафима  
В священном ужасе поэт. <sup>67</sup>

Не морализаторство священнослужителя, а арфа серафима, услышенная пророческим ухом Пушкина сквозь не очень ловкие вирши, приводит его в священный ужас. Арфа... то высшее, перед чем поэт останавливается, замирает, куда бы ни спешил. Струна серафимовой арфы, высший небесный звук, пересекающий запутавшуюся, никуда не ведущую песню.

Пушкин умел слушать эту арфу... И он чувствовал, что она приведет его туда, где Дух неисчерпаем и вечен. В тот безграничный океан жизни, который полагает предел всему смертному, предел самой смерти, а сам пределов не имеет.

Поэзия... дающая нам все и просящая у нас только одного — доверия,

безоглядного доверия. Согласия на то, чтобы вопросы наши оставались без ответа, чтобы они оставались открытыми, повисали в воздухе и выводили бы нас на открытый воздух — в бесконечное духовное пространство, которое само по себе и есть ответ на все конечное.

Чему Пушкин никогда не изменял в своей жизни — это Поэзии (не даром говорили, что он любил только свою музу). Совпадала она с тем, что хотели от него люди или нет, — с рассудочной нравственностью, с гражданственностью или еще с чем-то, он был с ней прежде всего. С ней — навсегда. Он верил, что она, Поэзия, выше и глубже всего остального.

И забываю мир — и в сладкой тишине  
Я сладко усыплен моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться, наконец, свободным проявленьем.  
И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо — к бумаге.  
Минута — и стихи свободно потекут.  
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,  
Но, чу! — матросы вдруг кидаются, ползут  
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;  
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?...<sup>68</sup>

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ИСТИНА И ЕЕ ДВОЙНИКИ

- 1 Михаэль Энде — всемирно известный современный немецкий сказочник-мистик, переведенный на многие языки и издаваемый огромными тиражами в разных странах мира.
- 2 Мейстер Экхарт — мистик XIII-XIV вв., оказавший большое влияние на развитие всей европейской и русской религиозной мысли. Его «Проповеди и рассуждения». пер. Маргариты Сабашниковой. М., 1912.
- 3 «Вехи» — сборник статей Бердяева, Булгакова, Гершензона, Изгоева, Кистяковского, Струве, Франка. 1909г. «Творческое самосознание» — статья М.О. Гершензона.
- 4 Самым названием эссе Цветаева подчеркнула, что не скрывает своего личного подхода к поэту.
- 5 Р.-М. Рильке: «Созерцание». Перевод Б. Пастернака.
- 6,7 Ф.М.Достоевский: «Идиот». Полн. собр. соч., т.8, М., 1973.
- 8 Джидду Кришнамурти (1895 - 1985) — религиозный учитель-мистик, родившийся в Индии, но большую часть жизни проживший в Европе и США, суть учения которого проходит сквозь великие мировые религии и объединяет их в духе.
- 9 Ф.И.Тютчев: «Silentium!», «Наука», т. 1, М., 1965.
- 10 Суфизм—мистическое течение в Исламе. Учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию Бога (в интуитивных, экстатических озарениях) и слияния с Ним. Возникло в VIII-IX вв.
- 11 Ф.М. Достоевский: «Бесы». Полн. собр. соч., т.10. М.,1974.
- 12 Ф.М. Достоевский: «Сон смешного человека». Полн. собр. соч., т.25. М., 1983.
- 13 Ф.М. Достоевский: «Идиот». Полн. собр. соч., т.8. М., 1973.
- 14 Ф.М. Достоевский: «Братья Карамазовы». Полн. собр. соч., т.14, М., 1976.
- 15 Ф.М. Достоевский: «Идиот».
- 16 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 17 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 18,19 Ф.М.Достоевский: «Преступление и наказание». Полн. собр. соч., т.14. М., 1976.
- 20 Ф.М.Достоевский: «Записки из подполья». Полн. собр. соч., т.5. М., 1973.
- 21 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 22 Ф.М.Достоевский: «Преступление и наказание».
- 23 В.Гете: «Фауст». Перевод Н.Холодковского.
- 24,25 М.Ю. Лермонтов: «Демон».
- 26 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 27 Ф.М.Достоевский: «Записки из подполья».
- 28 М.Ю.Лермонтов: «Демон».
- 29,33 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 34 Absurdum est — это нелепо (лат).
- 35 В.Гёте: «Фауст». Перевод Н.Холодковского.
- 36,37 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 38 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 39 Ф.М.Достоевский: «Преступление и наказание».

- 40 Ф.М.Достоевский: «Идиот».
- 41-44 М.Ю.Лермонтов: «Демон».
- 45 М.Ю.Лермонтов: «Молитва».
- 46 М.Ю.Лермонтов: «Выхожу один я на дорогу...».
- 47 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 48 Ф.М.Достоевский: «Сон смешного человека».
- 49 А.С.Пушкин: «Цыгане».
- 50 М.Ю.Лермонтов: «Маскарад».
- 51 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы». Образ Ивана: квадрильон вёрст, которые душа грешника должна пройти до рая.
- 52,53 Ф.М.Достоевский: «Бесы». Гарри — прозвище Ставрогина.
- 54 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы». Аналогичная легенда есть в Японии, только там Будда протягивает грешнику паутинку.
- 55 М.Ю.Лермонтов: «Демон».
- 56 А.С.Пушкин: «Демон».
- 57 М.Цветаева: «Крысолов». Гаммельн — место действия поэмы.
- 58 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 59 Ф.М.Достоевский: «Подросток». Полн. собр. соч., т.13. М., 1975.
- 60 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 61 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 62 Н.В.Гоголь: «Мертвые души».
- 63,64 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 65 Ф.М.Достоевский: «Сон смешного человека».
- 66 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 67,68 Ф.М.Достоевский: «Сон смешного человека».
- 69 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 70,71 Ф.М.Достоевский: «Сон смешного человека».
- 72,73 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 74 Ф.М.Достоевский: «Записки из подполья».
- 75 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 76,77 Ф.М.Достоевский: «Дневник писателя».
- 78-80 Ф.М.Достоевский: «Сон смешного человека».
- 81 М.Цветаева: Триптих «Поэт».
- 82 Б.Пастернак: «Стихи из романа. Магдалина».

## ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

- 1 А.С.Пушкин: «Моцарт и Сальери».
- 2 Ф.М.Достоевский: «Братья Карамазовы».
- 3 А.С.Пушкин: «Пророк».
- 4 В.Непомнящий: «Поэт и судьба».
- 5 А.С.Пушкин: «Заметки на полях статьи П.А.Вяземского „О жизни и сочинениях Озерова“», 1836 г.
- 6 А.С.Пушкин: «К морю».
- 7 А.С.Пушкин: «Полтава».
- 8 А.С.Пушкин: «К морю».
- 9,10 А.С.Пушкин: «Поэт и толпа».
- 11 А.С.Пушкин: «Ангел».

- 12 А.С.Пушкин: «Герой».
- 12 А.С.Пушкин: статья «Мнение о духе словесности как иностранной, так и отечественной».
- 13-15 А.С.Пушкин: «Пир во время чумы».
- 16 А.С.Пушкин: «Медный всадник».
- 17 А.С.Пушкин: «Жил на свете рыцарь бедный...».
- 18,19 А.С.Пушкин: «Медный всадник».
- 20 Ф.М.Достоевский: «Бесы».
- 21 Ф.М.Достоевский: «Идиот».
- 22 А.С.Пушкин: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
- 23 А.С.Пушкин: «К \*\*\*».
- 24 А.С.Пушкин: «Я вас любил...».
- 25,26 А.С.Пушкин: «Евгений Онегин».
- 27 А.С.Пушкин: «Ангел».
- 28 А.С.Пушкин: «К \*\*\*».
- 29 А.С.Пушкин: «Демон».
- 30 А.С.Пушкин: «Евгений Онегин».
- 31,32 А.С.Пушкин: «Цыгане».
- 33 А.С.Пушкин: «К Чаадаеву».
- 34 М.Ю.Лермонтов: «Дар напрасный...».
- 35 А.С.Пушкин: «Жил на свете рыцарь бедный...».
- 36 А.С.Пушкин: «Цыгане».
- 37 А.С.Пушкин: «Пророк».
- 38 А.С.Пушкин: «Моцарт и Сальери».
- 39-41 А.С.Пушкин: «Евгений Онегин».
- 42,43 Ф.М.Достоевский «Бесы».
- 44 А.С.Пушкин: «Полтава».
- 45 А.С.Пушкин: «Моцарт и Сальери».
- 46 В.А.Жуковский: «Из альбома, подаренного гр. Ростопчиной. IX. „А.С.Пушкин“».
- 47 А.С. Пушкин: «Заметки на полях статьи П.А.Вяземского “О жизни и сочинениях Озерова”», 1836.
- 48 А.С.Пушкин: “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
- 49 А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери».
- 50 А.С.Пушкин: «Скупой рыцарь».
- 51,52 А.С.Пушкин: «Моцарт и Сальери».
- 53 А.С.Пушкин: «Поэту».
- 54-57 А.С.Пушкин: «Моцарт и Сальери».
- 58,59 А.С.Пушкин: «Пророк».
- 60 См. примечание <sup>51</sup> к «Истина и ее двойники».
- 61 А.С.Пушкин: «Красавица».
- 62 А.С.Пушкин: «К \*\*\*».
- 63 А.С.Пушкин: «Осень».
- 64 М.Цветаева: «Избранная проза», М., 1979, с. 396.
- 65 А.С.Пушкин: «Дар напрасный, дар случайный...».
- 66,67 А.С.Пушкин: «В часы забав иль праздной скуки...».
- 68 А.С.Пушкин: «Осень».

## СОДЕРЖАНИЕ

*Г.Померанц. Учиться падать*

3

### ИСТИНА И ЕЕ ДВОЙНИКИ

Глава 1.

**Созерцание**

7

Глава 2.

**Мера жизни**

11

Глава 3.

**Усилие, которым берется царство**

12

Глава 4.

**Открытые вопросы**

15

Глава 5.

**Два страха, две свободы**

17

Глава 6.

**Расколота душа**

21

Глава 7.

**Взломанная тайна**

23

Глава 8.

**Логика и страх Божий**

28

Глава 9.

**Страдающий демон**

34

Глава 10.

**Лишние**

41

Глава 11.

**Реальность и факты**

44

Глава 12.

**Я стою на мосту**

50

## **ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО**

Глава 1.	
<b>Символ веры</b>	
59	
Глава 2.	
<b>Стихия и дух</b>	
61	
Глава 3.	
<b>«В глубокой задумчивости»</b>	
69	
Глава 4.	
<b>Святыня красоты</b>	
72	
Глава 5.	
<b>Трое в одном лице</b>	
76	
Глава 6.	
<b>«Есть высший судия»</b>	
82	
Глава 7.	
<b>Собственник и мот</b>	
84	
Глава 8.	
<b>Запах вечности</b>	
88	
Примечания	
92	

Редакторы *Ю.С.Майшев, В.Н. Ойвин*  
Обложка художника *З.Ю.Бутгаева*  
Корректор *С.К.Шмырева*  
ИБ №6

Сдано в набор 10.10.91. Подписано в печать 20.02.93.  
Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл.печ л. 5.0. Тираж 12 000 экз.  
Издательство «Протестант», 123290 Москва,  
Мукомольный проезд, д.1, корп.2

Отпечатано в типографии ИТАР-ТАСС  
129085, Москва, Звездный бульвар, 17  
Зак. 66са

